

[Polaris]

Павел
СКУРАТОВ



СРЕДИ ПАДШИХ...

(Из киевских трущоб)

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CDVIII



Salamandra P.V.V.

**Павел
СКУРАТОВ**

СРЕДИ ПАДШИХ

**(Из киевских
трущоб)**

Salamandra P.V.V.

Скуратов (Новиков) П. Л.

Среди падших... (Из киевских трущоб). — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2022. — 136 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CDVIII).

Созданный на рубеже XIX и XX веков уголовный роман актера, писателя и драматурга П. Скуратова посвящен судьбам девушек, попавших в руки безжалостных торговцев живым товаром, и сочетает картины жизни обездоленных с описанием полицейского расследования загадочного убийства.

АКТЕРЪ

Лавель Скуратовъ.



Среди падшихъ...

(Изъ Кіевскихъ трущобъ).

ПОМЪЩЕНЫ :

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РИСУНКИ,

СНИМКИ ТИПОВЪ СЪ НАТУРЫ И

ФОТОГРАФИЧЕСКІЕ СНИМКИ

АВТОРА ВЪ ГРИММЪ.

ФОТОГРАФИИ И КЛИШЕ

ИСПОЛНЕННЫ У С. В. КУЛЬЖЕНКО.



СРЕДИ ПАДШИХ

(Из киевских трущоб)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Николаю Николаевичу
Соловцову!

Посвящая Вам свой скромный труд, я начну с русской пословицы: «Чем богат, тем и рад!»

Своим посвящением я хочу выразить Вам мое уважение, как артисту, честному сценическому деятелю и хорошему человеку.

Автор.

Глава I

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В пригороде красавца-Киева на самой окраине стоит покосившийся домик, если только возможно назвать его домиком; вернее — это старая мазанка с облупившейся глиной, насквозь прохватываемая морозом и пронизываемая ветром. В гнилые рамы вставлены кусочки стекол, соединенные между собой замазкой, а два стекла заменены сильней сахарной бумагой, хлопающей при каждом порыве ветра.

Страшно, жутко и за обитателей этой собачьей конуры, и за саму конуру, которую, казалось, как карточный домик, может разрушить любой порывик ветра.

Свернувшись клубочком, у низеньких дверей лежала тощая сучонка с отвислыми сосцами, по временам вздрагивавшая всем своим голодным телом и оцетинившая паршивую шерсть всех цветов и мастей...

Внутреннее помещение состояло из комнатки, стены которой были украшены серо-зеленоватой сыростью, застывшей от мороза и украшенной блестками инея. В углу, грустно смотря на свет Божий, стояла русская печушка; около одной из стен, прямо на полу, лежал старый матрац, из которого торчала солома; тут же лежала подушка в грязной ситцевой наволоке. У окна стояла табуретка и перед ней стол, когда-то простой, белый, теперь же почернелый от пропитавшей его грязи.

В углу висел образок, обделанный в серебряную ризку. Ризка была вычищена; по впечатлению, это был единственный предмет, о котором заботились; вероятно, остаток прошлого достатка. Направо от окна на простой бечевке была повешена занавеска, за которой должна была скрываться кровать. По углам сонно сидели полузамерзшие тараканы. На остатках обоев с розанами виднелись гнезда насекомых. Потолок был закопчен и весь испещрен иероглифами — точ-

но по потолку проводили пальцами в разных направлениях, желая убедиться в толщине копоти и пыли.

Кругом домика были сугробы снега, доходившие до оконцев; причесанные ветром, они походили на цепь маленьких холмиков... Кругом грибками смотрели на свет Божий ряды таких же мазанок, то покосившихся, то разъехавшихся, то с выпученными стеночками, точно животы у людей, умирающих от голодного тифа. Кой-где росли деревца, теперь застывшие, омертвелые, покачиваемые то ветром, то стаей откуда-то налетевших ворон с злобными, пленками моргающими глазами и отчаянно галдящими, точно бабы на базаре. Разбуженная этим острым криком, сучонка поднялась на свои дрожащие ноги и, волоча по земле сосцы, медленно поплелась на другое место, где снова как-то ухнула на замерзлую землю и снова стала дремать, дремать болезненным забытием голодного животного... Стая ворон всхлопнула крыльями и сначала тяжелым, потом более легким лётom, зигзагами метнулась вдаль.

Это воронье воинство спугнул показавшийся за углом дома человек.

На его отяжелевшей фигуре было надето зеленоватое, с коричневыми и желтоватыми потеками пальто. На спине, формы бубнового туза, красовалась гаванного цвета заплата; на локте правой руки полуоторвалась другая заплатка, а из локтя левой торчали остатки грязной ваты. Вся грудь лоснилась от сала, грязи, нюхательного табаку и из этого аппетитного кусочка, что называется, давно можно было сварить суп. На голове была надета фальшивого барашка шапка, старая, как свет, и изорванная, как душа исстрадавшегося человека. На правой ноге красовался рыжий сапог, в голенище которого была заправлена коломянковая штанина, грязно-черная; на левой, обернутой онучей, болталась, точно монитор на волнах, огромная, старая резиновая галоша-ботик с протоптанной пяткой. Из-под поднятого, когда-то бархатного воротника торчали седые ключья волос, выросшие на одутловатом, переливающимся внутри водкой, водой и чем-то вроде крови лице. На выпуклой оконечности лба торчали брови, очень суровые на вид, но под ни-



*На его отяжелевшей фигуре было надето зеленоватое, с
коричневыми и желтоватыми потеками пальто....*

ми тускло смотрели на радостную природу, сменяющуюся то зимой, то осенью, то летом, то весной, серые глаза, добрые, с выражением муки, не загорающиеся ни от чего, кроме горячо любимого отечественного бальзама. Довольно полные губы, цвета долго лежалого мяса, слегка вздрагивали и прикрывали еще сохранившиеся зубы. Довольно правильный, хотя и опухший нос смело выглядывал из за больших серо-желтых усов, ощетилившихся, точно еж, когда до него коснется враг. Руки, красно-пегие от холода, дрожали и эта дрожь быстро переходила в плечи, бежала по хребту и заставляла еще больше дрожать опухлые от ревматизма колени.

— Эй, ты! Галатея! поди сюда, подлая! — хлопая руками по ляжкам, хриплым голосом звал он всех цветов радуги собачку. Та наострила уши и забыв голод, весело, затрепеща, побежала к хозяину. — На тебе, подлая тварь! Блудница разношерстная! На тебе кусок вареной воловьей ноздри... ешь! Закусить бы мне самому пригодилось, а я о тебе вспомнил! Ах, ты несчастная! Где щенят растеряла? Утопили? А?

Но прекрасная Галатея не слушала и старалась проглотить кусок вареного, жесткого воловьего носа. Она переключалась то на правую, то на левую сторону зубов, то бросала на землю и, прижав лапами, рвала и жадно глотала вкусный обед, ужин и завтрак. Наконец проглочен последний кусок и она, радостно улыбаясь хвостом, обливаясь розовым, с черным пятном языком, бодро побежала за хозяином, который входил в известную уже нам хибарку.

В темных сенях он нечаянно наступил на лапу сучонки, та взвизгнула и, подпрыгивая, вбежала в горницу, где, свернувшись бубликом, улеглась на матрац, лежащий на полу, полизав предварительно больную лапку.

Вошедший оборванец перекрестился дрожащей рукой на образок и положил шапку на стол. Как-то тупо оглядел он комнату и его взгляд остановился на печке, давно нетопленной, в которой привольно, без страха гулял холодный зимний воздух...

— Н-да... нехорошо! Холодноовато, и мой Павлушка не идет... Ирод! «Я принесу! Я заработаю!» Скот, право, скот! — ворчал старик, приподнял ситцевую занавеску и лег на деревянную постель, в щелях которой копошились побледневшие от мороза клопы. Заложив руки за голову, он смотрел перед собой. Взгляд его следил за обессиленным тараканом, стремящимся за поисками теплого угла, то останавливался на иероглифах, украшавших потолок, то смотрел на образок, из киотки которого строго смотрел миндалевидными глазами святой Сергий.

Старик тяжело вздохнул и лег на бок. Но лежать на левом боку он долго не мог и перевернулся на правый, опять ворча сквозь зубы:

— Нет и нет моего оболдуя! Вот наградил Бог сынком! Ну я, стар, исковеркан... а ведь ему двадцать лет... не может прокорм достать... да что прокорм! — не может водки достать!... эдак слюной изойдешь... сосет глиста окаянная! ну ладно — приди только! я тебя удружу!..

Раздражение пьяницы, которому не дают пить, хватывало старика и несвойственная ему злоба подступала к сердцу, к горлу и лицо подергивала судорога.

За оконцами послышались шаги; хрустел снег. Галатя приподняла мордочку и стала прислушиваться. Все ближе и ближе становились шаги; вот скрипнула дверь, и Галатя с лаем кинулась вперед и вдруг, успокоившись, повернула назад, но не легла на матрац, а полезла под кровать.

Старик приподнялся на постели, спустил ноги и с томительным нетерпением смотрел на дверь...

Она отворилась и на пороге показался бледный, одетый не лучше отца молодой человек. Он был черноволос. Спутанно-курчавые волосы беспорядочно торчали в разные стороны.

Черные глаза лихорадочно блестели и от болезни, и от вина. Тонкие губы, безжизненные, бесцветные, как-то упрямо сжались; ноздри прямого, правильного носа подергивались, как у породистой лошади; руки были белы, с синими жилами, хотя и носили следы работы и мозолей...

Повернувшись спиной к отцу и лицом к окошку, моло-

дой человек стал ковырять пальцем в оледеневших стеклах.

— Принес? — дрожащим голосом спросил старик.

Сын молчал.

— Принес? али нет? — бисово отродье! Оглох, что ли? — крикнул старик.

Сын молча отрицательно покачал головой и опустился на табурет.

Встав с постели, пристально всматриваясь в сына, пошатываясь от волнение, подвигался к нему отец.

— Опять нет? Что же, помирать мне?! Ты знаешь, что я к работе непригоден?! Э-э! да от тебя водкой пахнет?! Так ты...

Старик взял сына за плечи. Тот сидел молча, смотря лихорадочным взглядом на отца, с повисшими как плети руками.

— Так ты, — продолжал старик, — сам выпил, а меня на муки оставил! — и, сильно тряхнув его, сбросил с табурета на пол, рядом с матрацем, где только что отдыхала Галатея. Ошеломленный неожиданным падением, молодой человек впал в беспамятство. Бледное лицо стало еще бледней и на уголку губ показалась пена. Нахлынувшая злоба сразу откатилась у старика и он, перепуганный, бросился на колени перед сыном. Рыдания душили его и он, всхлипывая, припав, казалось, к безжизненному телу, с отчаянием твердил:

— Сынку мой! Голубь мой! Прости меня! Ведь я люблю тебя! Ведь ты голубь, неповинный голубь!.. Да неужто ж ты помер?! С кем же я теперь пить буду, с кем горе заливать стану?! Сынку родный — встань, утешь отца...

Тяжелый вздох вырвался из груди Павла...

С невероятным усилием старик, Савва Кириллович Завейко, так будем звать оборванца-старика, оттащил сына на матрац. Из маленькой кадучечки он набрал воды в глиняную кружку и дал испить. С томительным ожиданием его старческие глаза впивались в болезненное лицо, и когда сын открыл их, глухие рыдания вырвались наружу и слезы, горько-соленые слезы, потекли по одутловатому лицу, пряча в седых клочках бороды...

— Батя, не плачь, полно... мне хорошо... — прошептал больной.

— Сынку мой родный, ради Христа — прости меня! Слушай, побудь один, а я схожу за лекарем... слышь, я схожу.

— Как хочешь... устал я... подремлю... и грудь ноет... только недолго... скучно мне...

— Я мигом, мигом...

Старик заторопился идти к лекарю, насколько могли двигаться ослабевшие ноги.

В каморке царила полная тишина и Павлюк лежал, откинув голову назад. Беззвучно, быстро дышал он, как будто не желая вздохнуть полно, сильно, не желая впустить здоровый воздух в эту иссохшую, надтреснутую грудь...

Галатея тоже притихла и исподлобья смотрела на молодого хозяина. Изредка ее паршивый облезлый хвост двигался от лева к праву, беспокоил спокойно лежащую пыль и тем показывал свое расположение, свое участие к происходившему.

Промерзлые стены... дыханье холода... человек... собака... полудохлые тараканы... клопы... низкий потолок, точно гробовая крышка, повисшая над всем этим... снежные холмики вокруг и сумрак надвигающейся ночи.

Время шло... Старик не возвращался...

Павлюк приподнялся с трудом на локоть и большими, широко открытыми глазами вглядывался в окружающий мрак...

— Батя, ты пришел? Аль спишь?

Ответа не было.

— Батя! Не слышишь, что ль?

Ответа опять не было, только что-то мокрое, теплое скользнуло по его щеке и уху. Павлюк вздрогнул. Вот опять. Он провел рукой около себя, и рука наткнулась на Галатею. Это сучонка отозвалась на голос и лизнула его языком.

— Ах ты, глупая, поди сюда, поди сюда — костлявая! — позвал он собачонку. Та усердно, быстро зачастила хвостом; в знак покорности пригнулась и легла на спину кверху брюхом, тихо, ласково повизгивая...

Погладив ее, Павлюк приподнялся на своем ложе и сел. Отец ушел за лекарем, хотел вернуться, а его нет и нет. Может, спит крепко, задал себе вопрос Павлюк и пошел к кровати. Ощупав ее, он убедился в отсутствии старика.

— Где же он? Жив ли? Может, замерз? Может быть, уже его застывший труп лежит где-нибудь в участке?

Одно предположение сменялось другим; мысли работали скачками, порывисто, и беспокойство все больше и больше охватывало Павлюка. Пойти искать? Но куда? В ночлежный приют? Зачем ему быть в приюте, когда есть свой угол — холодный, но свой... Нет, подожду еще немного... Он сел на табурет у окна. Сумрак давно сменился черной пеленой ночи... В каморке делалось все холодней и холодней. Павлюк взял лохмотья, заменяющие одеяло, накинул на себя и сел на прежнее место... Одеяло не помогало... Он позвал Галатею, положил на колени и закрыл ее и всего себя вплоть до головы, — стараясь согреться своим дыханием и дыханием собаки.

Был момент, когда, казалось, желаемое тепло приветливо, ласково охватило бранные тела двух живых существ... Даже мечты легкой тенью стали появляться в голове Павлюка... унеслись воспоминаниями в далекое прошлое. Точно сквозь флер мимо него проходили тени невозвратного... Вот хорошая квартира... светло, уютно, тепло... Молодая женщина... красивая, веселая... это мать... Молодой мужчина... знакомый... Отец, сперва довольный, счастливый, потом грустный, неприветливый. Потом пустота в воспоминаниях... а затем отсутствие и матери, и знакомого... Один отец... часто пьяный... другая квартира, хуже, меньше... А там еще и еще хуже... ученье урывками... потом нужда и вот...

Вдруг что-то сильно стукнуло в окно...

Павлюк вздрогнул, прогнал собачонку и стал слушать... Что-то опять стукнуло... Галатея оцетинилась, подняла уши и насторожилась... Вот опять... «щелк!» Точно кто-то таинственно давал о себе знать... Павлюк стал вглядываться в замерзшее окно, но иней и лед не давали увидеть что бы то ни было. Накинув шапку, Павлюк выбежал на улицу... Кругом никого... Только «завируха» подхватывала, точно пыль,

снег и несла его вдоль дороги. Он подошел к окну и тут только понял, что это щелкала синяя бумага, заменявшая одно из стекол.

Пронизывающий морозный ветер ожигал члены Павлюка, он проникал в его душу, сердце, он обнимал своими жгуче-ледяными объятиями его тело и точно чеканной, ледяной рукой давил мозг, сердце... и останавливал кровь...

Павлюк бросился домой... в каком-то приливе отчаяния он схватил расшатавшуюся табуретку, ударил ею об пол так сильно, что она разлетелась на куски. Подобрал их, кинулся к печи, вырвал кусок соломы из матраца, подложив ее под дрова, поджег и через минуту — яркое пламя вспыхнуло и осветило убогую обстановку конуры, бледное лицо Павла и образок.

Закопошились тараканы, поползли из углов на свет, на тепло и их тараканьим жизням стало так же радостно, как светло и радостно было на миг в душе Павлюка. Чем ярче горели останки табурета, чем сильнее освещалась красноватым светом комната, тем учащеннее билось сердце страдальца, тем все с большим и с большим забвением счастливого упоения он вдыхал большой грудью нагревающийся воздух. Но вот деревяшки обратились в ярко-красные уголья, игравшие огненными теньями, с синеватым огоньком наверху; вот они потускнели, покрылись пеплом, вот развалились на части, а вот осталась одна горячая зола.

С каждой минутой агонии огня, снова холод упрямо борол тепло и с каждой минутой безнадежная тоска охватывала Павлюка.

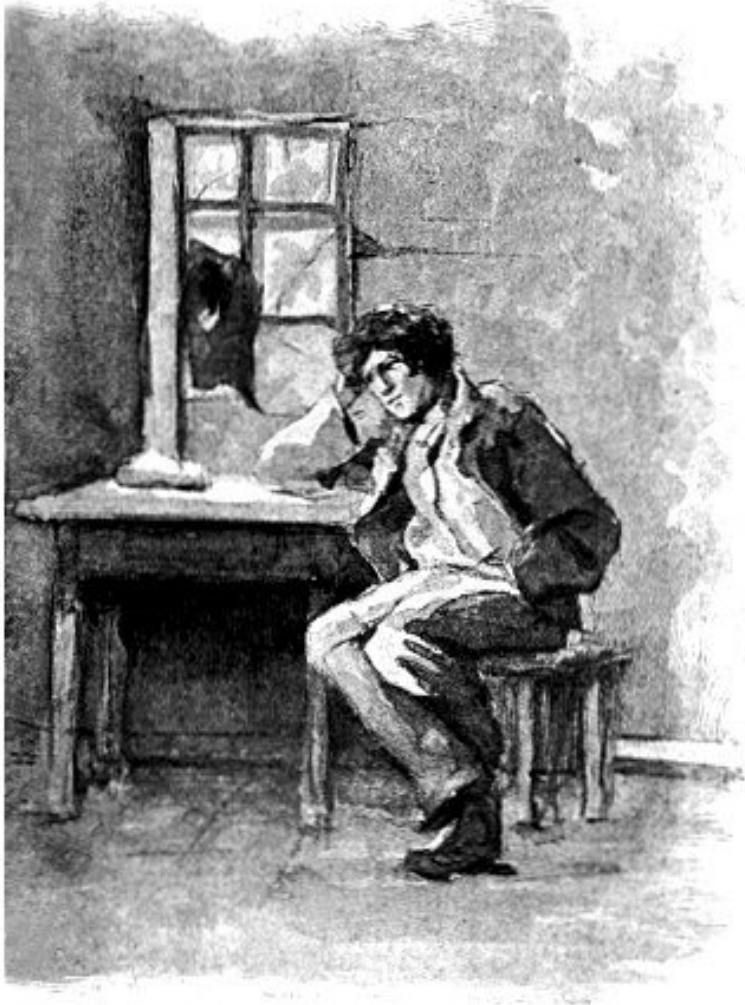
Жизнь... холод... муки... болезнь... и впереди — что? Что впереди?! Что впереди?! В отчаянии он бросился на кровать, уткнулся лицом в подушку, на которой еще сохранилось углубление от головы отца, и заплакал; заплакал слезами безысходной тоски и печали...

А отца нет...

Но что это? Торопливые шаги... Отворяется дверь и кто-то, с трудом переводя дыхание от усталости, спрашивает:

— Здесь живет... Савва Завейко?

Павлюк вскочил. Предчувствие чего-то недоброго охва-



*Жизнь... холод... муки... болезнь... и впереди — что?
Что впереди?!*

тило его, зубы застучали и от холода, и от нервной лихорадки.

— Что такое? Что вам надо?

— Здесь живет Савва Завейко?.. Отвечай скорей!.. Я час целый мотаюсь... и толкаюсь из дома в дом... Тут живет, что ли?..

— Здесь! Здесь!

— Ты сын?..

— Да.

— Беги со мной... неладное приключилось с отцом; беги, а то, чего доброго, в живых не застанешь...

Павлюк задрожал. С его батькой худо... с его батькой!! Господи, да что же это?!! Он схватил шапку и точно новая жизнь, новая сила влились в его больное тело и он быстро побежал за незнакомцем.

За ними, прихрамывая, следовала Галатя.

Дорогой несколько раз он порывался спросить у незнакомца, что такое случилось с отцом... но тот только махал руками и торопливо говорил:

— Иди, иди — узнаешь...

— Да жив ли?

— Когда ушел, был жив...

Павлюк бежал. Он не замечал ни мороза, ни ветра; он не замечал, как взбудораженный ветром снег залезал ему в уши, в рот, в глаза, таял и тотчас замерзал корочкой на коже его лица, ушей, шеи, опять таял и опять креп. Он не замечал, что его драные штiblеты были полны снега; он не замечал, что все крепчавший ветер воровски проникал и под летнее пальто, лаская морозным поцелуем грудь, и под панталоны, надетые на голое тело, и под шапку, и сквозь шапку, леденя бедную голову...

Они миновали одну улицу, другую, третью... Тут им попался прикрытый полостью дремавший извозчик. Незнакомец подбежал, толкнул ванька и, крикнувши: «На Б—ку», — сел в сани, куда за ним машинально вскочил и Павлюк. Коренастая лошадка довольно быстро бежала, — желая согреться.

— Пошел, пошел, — подгонял незнакомец. Это был на вид довольно приличный молодой человек из типа маменькиных сынков.

— Я к тебе тоже на извозчике приехал, да он не захотел назад везти, повернул домой...

— Как же вы нашли-то меня?!

— Твой отец объяснил адрес; вот он у меня в руках, я записал. Молил, чтоб сына привезти... ну, я и согласился. Другие-то товарищи отговаривали, а я не послушался, поехал, больно жалко его стало... очень любит он тебя...

— Да что же с ним? Говорите, Бога ради! Не мучайте меня! Зачем терзаете меня?! Что я вам сделал?! Говорите же! Говорите!

— Да пойми ты, долго рассказывать... приедешь и узнаешь, и увидишь сам... Пошел, пошел... — опять подгонял незнакомец извозчика.

Ванько был добросовестен и усиленно дергал вожжами и растягивал чуть не до крови губы лошади. Та бежала то рысью, то подымалась вскачь.

За санями, не отставая ни на шаг, бежала запыхавшаяся Галатей.

— Заверни налево в улицу и направо остановишься в конце у крайнего дома... понял?..

Опять задергал вожжами ванько, зачмокал, занукал, — раз пять обругал кобылку и холерой, и толстобрюхой, и ленивым чертом и, наконец, обозвав «Эх ты, милая», тпрукнул и остановился у двухэтажного, довольно приглядного дома.

Незнакомец кинул ваньке целковый. Тот ломал шапку, благодарил, но никто не обращал внимания на его поклоны.

Незнакомец усиленно дергал за ручку звонка...

Минуты через четыре дверь отворил бледный, перепуганный лакей.

Глава II

СИЛКИ

На Ф...ской улице стоит довольно богатый дом. Одну из квартир занимали Василий Пантух и Мария Курилич. Эта милая чета занималась темными делами и преимущественно в свои силки заманивала молоденьких девушек; эксплуатировали запутавшихся в расставленной паутине бабочек и набивали золотом свои карманы. При них состояли свои агенты, свои соглядатаи, которые за известную лепту доставляли сведения о подходящих субъектах и ловкими маневрами заманивали в притон намеченные жертвы. Обстановка квартиры отличалась яркостью, золотой мишурной мебелью и безвкусицей. Кроме занимаемых хозяевами, вся квартира состояла из мелких комнат, таинственно обставленных мягкой мебелью, преимущественно удобными кушетками, диванами, оттоманками, освещаемых где розовыми, где голубыми, где молочными или пестрыми фонарями. Вечером туда собирались молоденькие особы, богато и пестро одетые, сильно набеленные и нарумяненные, а между ними попадались еще и со свежими румяными личиками. Каждого посетителя прежде, чем впустить, спрашивали или оглядывали в приотворенную дверь и, если были знакомые, посещавшие раньше или не казавшиеся подозрительными, их впускали и тут-то начинался торг. На большинство цена была установлена, а за свежее, или нетронутое совсем, или малодержаное шла торговля, и хозяйева умели не сбить цену; умели разжечь страсти, показать товар лицом и почти всегда сделка была удачна и кончалась продажей очень выгодной к их удовольствию. Парочки расходились по таинственным углам или уезжали в другие злачные и гостеприимные места.

Время шло, свежие личики блекли и начинали притираться белилами и румянами. Затем вяли окончательно, и их обладательницы опускались ниже и ниже. Бедняжек можно было уже встретить в притонах менее комфортабель-

ных или на К...ке, как только на землю спустится желанная им темнота и зажжется электричество и другие огни. Тут приходилось разрисовывать лица ярче, наводить брови черней, чтобы внимание невольно останавливалось и плененные приступали к таинственной беседе. Многие часто голодали и, понуждаемые голодом, становились назойливыми и более чем сговорчивыми в цене. Являлись неудачницы, которым не везло на этом тернистом пути; приходилось закладывать раньше нажитые вещи, золотые, а там и платья, и шубы, и даже обувь. В такие трудные минуты бедняжки ютились по двое, по трое, и по очереди одевали одну и ту же ватную кофточку, одно и то же платье, одно и то же нарядное белье и шляпку. Нередко находились субъекты, обманывавшие этих грошовых эвменид и уходившие, не заплатив медного гроша. С тоскливым лицом, с злобой в сердце возвращалась эта дама с камелиями домой, где ждала ее ругань сожительниц. Но недолго продолжалась ссора, кончавшаяся обыкновенно общими слезами и проклятиями по адресу негодяя. Непьющие, по требованию мужчин, стали пить, сперва неохотно, потом охотней, а потом являлась привычка и непреодолимое влечение к вину, а чаще просто к водке. Голос становился тусклым, дальше грубел, а затем появлялась характерная сипота. Счастлива из них та, которую судьба или добрый человек вырвет из омута и толкнет пойти другой дорогой. С ужасом и омерзением вспоминает большинство о пройденном пути, но многие возвращаются вновь или по несчастно сложившимся обстоятельствам, или прямо тоскуя по распутной жизни. Но как бы низко ни падала бедная женщина, как бы ни окунулась в грязь разврата, почти у каждой из них сохраняется влечение к чистому, к прекрасному, к идеалу... Почти каждая избирает себе предмет любви, делается его рабой, способной на всякие жертвы, даже подвиги и часто на преступление. Ругань, издевательство, побои готова переносить она от своего избранного любовника, лишь бы быть убежденной, что все это он делает из любви к ней, и с каким блаженством, избитая, поруганная, она рассказывает своим сотоваркам, что ее друг сердца приревновал ее

и исколотил. Так течет жизнь, по-видимому праздная, но на самом деле, тяжелая, полная драмы и даже трагизма... Многие умирают от чахотки, от истощения, от бледной немочи, от ужасной болезни, а многие доживают до старости. Это — самые несчастные! Начинается период, когда грим кладется как штукатурка, румяна сыпятся с лица, а предательские глубокие морщины, землистый цвет лица выплывают наружу, и нет больше желающих обладать этими обносками, этим тряпьем, этими по названию женщинами. Продав последнюю цветную тряпку, оставшись в лохмотьях, едва прикрывающих изможденное тело, блудница остается на улице, выгнанная хозяйкой, негодной для самых низких вертепов, и вот тут-то...

Впрочем, вернемся к Пантуху и Курилич. Вернемся к этим насадителям разврата, благодарение Богу в конце концов караемых и Им, судом уголовным и судом общественным. Итак, эта чета пока благоденствовала. В один из предпраздничных дней, когда квартира была еще пуста от вчерашних посетителей, разъехавшихся по домам, раздался довольно резкий, смелый звонок. Видно было, что посетитель не стеснялся и знал, зачем и куда идет. Заспанная прислуга отворила дверь. Вошла женщина лет пятидесяти, скромно одетая, с ридикюлем в руках. Тип лица был нерусский, хотя происхождение ее нельзя было определить. Эту даму можно было принять и за гречанку, и за еврейку, и за армянку.

— Можно видеть Марию Григорьевну или Василия Нилыча?

— Они еще почивают, — отвечала прислуга.

— Разбуди, разбуди! Дело срочное и неотложное! Понимаешь, я никогда не беспокою даром! Промедлишь полчаса, другие перехватят, и быть нам с носом. Иди, иди, — торопила Хрящиха, так было ее прозвище.

Горничная заперла дверь на ключ, надела предохранительную цепь и метнулась в комнаты будить хозяев. Хрящиха вошла в гостиную, уселась в кресло и ожидала Пан-



ХРЯЩИХА

Вошла женщина лет пятидесяти, скромно одетая, с ридикюлем в руках.

туха и его сожительницу. Воздух в комнате был какой-то особенный, состоящий из запахов пива, вина, водки, папирос, сигар, одеколона, духов и пота. Нос Хрящихи был давно приучен к такой смеси, и она ее не замечала.

Хрящиха теперь была агентом четы, живущей в этой квартире, а прежде состояла содержанкой богатого грека в Одессе, затем таковой же в Москве у купца из Тит Титьчей, а затем еще, и еще, и еще у кого-то, затем прошла все ступени, кроме двух последних, и не осталась в бранных отрешках, и не умерла где-нибудь под забором, быть может, страдальческой смертью, искупив грехи, а занялась позорнейшим делом — агентурой по доставке живого товара — и сделалась ищейкой, знавшей всех и вся, от хищнического взора которой не ускользала ни одна хорошенькая девушка. Зарабатывала она довольно хорошо; жила безбедно и душой любила свое омерзительное ремесло.

При каждой попавшей в ее когти птичке она испытывала сладостное ощущение кошки, которая запускает когти в бьющуюся жертву, затем освобождает на мгновение, а затем опять душил и, в конце концов, отрывает голову.

Это был интересный выродок со своеобразными взглядами и понятиями. «Вот еще, — говорила она, когда кто-нибудь укорял ее, — очень мне нужно их жалеть. Я же была такой... Я же мучилась... прошла, можно сказать, огни и воды, и медные трубы, и волчьи зубы, и лисий хвост, так пусть и другие попробуют, каково это сладко! Да и жить-то мне чем-нибудь надо? Своя сорочка — ближе к телу, не околевать же мне на улице! Сама я больше в обиход не иду — исправилась, а другие свои головы и понятие имеют — пусть не сдаются! Что мне их нравственности учить? я их не держу, я только господам Пантухам предлагаю и деньги за это беру; а что они с ними делают — я не знаю, может — в пансион отдают или к родителям отправляют....» При этом разговоре Хрящиха не смотрела в глаза, а взгляд ее обходил мимо взгляда собеседника и смотрел куда-то в мертвую точку. Целыми днями эта мегера сновала по городу, узнавала, где кто остановился, в какой гостинице, в каких номерах; наводила справки, выслеживала и, если замеча-

ла, что товар интересный, уже не отставала до тех пор, пока не заполучит его. Являлась она и под видом продавщицы старых вещей, и под видом просительницы, и под видом содержательницы меблированных комнат, и под видом просто заинтересовавшейся особы; впрочем, всех ее уловок и приемов не перечтешь. Хрящи́ха была знакома с многими мышинными жеребчиками и маменькиными сынками, именуемыми «саврасами без узды», и с похотливыми старичками, и с богатыми иностранцами, словом, со всеми, кому надобится ее товар. К ней приезжали и из Константинополя, и из Египта... Это был комиссионер на все руки — внутренний и заграничный.

Хрящи́ха нетерпеливо ждала появления хозяев. То и дело глаза ее поворачивались в сторону двери, из которой должны были появиться Пантух и Курилич, и с ее губ срывались слова нетерпения и даже брани...

— Подождать приказали сам и сама, — объявила появившаяся на пороге горничная. — Оденутся и выйдут...

— Да что им одеваться, не видала я их, что ли, раздетых или одетых... Тут минута дорога, а они прохлаждаются... Сами будут виноваты, если из рук вырвут кусочек, да такой, какого еще мы и не видывали!... понимаешь, Даша: стройная, белая, румянец нежный, точно зорька утренняя; зубы, словно бумага, белые, ручки в синих жилках, пальчики точеные и с розовыми ноготками; ножка, как у китаек рисуют, — прямо в микроскоп смотри; грудь высокая, в разные стороны; коса шатеновая, толщиной в руку, а глаза словно васильки, а под ними ресницы, как метлы; ну прямо... сто тысяч... двести... миллион... можно заработать! Какое уж тут одевание, тут беги в чем есть, только бы план составить скорей, и зовут ее Елена; так она и есть прекрасная Елена!

— И не грешно вам? Что же она — девушка?

— Девушка, девушка, родная ты моя, из девушек — девушка!

— Как посмотрю я на вас, так прямо, надо говорить, как торжница вы по этой части, — обозвала горничная и вышла.

Прошло еще минут десять, когда наконец появились с таким нетерпением ожидаемые Хрящи́хой Пантух и Кури-

лич. Она кинулась навстречу и быстро, что называется, на курьерских начала беседу:

— Да что же вы так долго, миленькие! Век свой серьезным делом занимаетесь, а быстроты нет. Пожалуйста, садитесь и прислушайтесь.

Хрящица подвигала стулья, усаживала и уселась сама.

Вошедшие Василий Пантух и Мария Курилич имели довольно приличный вид.

— В чем дело? — спросил Пантух, зевая и протирая сонные глаза.

— А приехала девушка, красоты необыкновенной. Приехала занятий искать. Собственным трудом жить желает. Проживает она здесь уже месяц-полтора, никто ее не знает, никого она не знает, практики нет и сидит она, как рак на мели. Привезла немного деньжонок, кой какие вещицы — да по малости все и спустила. Сейчас, так надо думать, с неделю на одном чае с сухариками сидит. Вещицы перезаложены, зима необыкновенная по своей холодности, выйти ей невозможно — накрывай птичку и вся твоя, как будерброт проглотил.

Я туда наведывалась, сказала ей, что, мол, нужна чтнца, романы читать — так не угодно ли ей это место взять. У ней, у голубушки, и глазки заблестели, так обрадовалась, даже целовать меня стала. Я тоже будто слезой прошла и глаза свои платком обтираю. Красоты, надо вам сказать, поразительной. Сюда никто нам не приводил такой и не приведет ни до скончания века. Прямо копи алмазные наши, золотиносную жилу. Только торопиться надо; стала с тела спадать и цвет лица затуманился! Просто, я вам говорю, у меня душа, как лист березовый, трясется от счастья, что этакую необыкновенную доходную статью судьба послала. Только нам поговорить надо насчет гонорара. Пятьсот рублей единовременно и десять процентов мадам Хрящице, и не пожалеете, а еще сорти-де-бальную накидку подарите...

— Ты сошла с ума! Поросенка в мешке я не покупаю. Ты мне покажи ее, тогда и о цене будем говорить...

— Нет, многоуважаемый, я ее тебе, то есть вам, не пока-

жу. Что я за дура! Говорю — Елена Прекрасная! Мне верить можно! Я еще сроду не обманывала, я женщина честная! И своим реномэ дорожу! Раз обманула, два обманула... а там и ни один порядочный человек верить не будет... Вот что, сейчас дай мне двести карбованцев и она твоя, а не дашь, к Шприделю отвезу...

— Ну ладно... Марья, принеси две сотняжки.

Мария Курилич встала и пошла исполнить приказание сожителя.

— Но ты смотри, — продолжал Пантух, — если меня надуешь и не то доставишь, как говоришь, я тебя не пощажу... на весь наш мир ославлю, никуда на порог не пустят...

Хрящиха прищурила глаза, сморщила свое лицо и приниженно, льстивым тоном отвечала:

— Ай, ай — я то надую! Да я душу заложу, а бесчестие не совершу... А уж доставлю такой пончик, что каждый съест и еще попросит... Только теперь надо нам в плане военных действий к соглашению прийти...

Глава III

НЕРАВНЫЙ БОЙ

Павлюк вбежал по лестнице; шмыгнув между ногами, за ним пробралась Галатея. Вот они в большой, продолговатой зале, освещенной довольно яркими свечами, вставленными в бра и большой лампой. Между двумя окнами стоял большой стол, покрытый скатертью, залитый вином и пивом; стояли опорожненные бутылки, стаканы с остатками напитков и остатки закусок на тарелочках; валялись окурки папирос и сигар. Мебель была вся в беспорядке. Стулья и кресла без толку торчали посреди комнаты; видно было, что люди сидели отдельными кружками, беседовали, — а теперь куда-то ушли. Павлюку бросилось в глаза большое красное пятно на скатерти и такое же пятно на полу.

«Вино или кровь? — задал он сам себе вопрос и сам себе ответил: — Нет, слишком яркое — должно быть, кровь!»

Он прошел еще несколько комнат и очутился в богато убранном кабинете. Около большой оттоманки стояло человек шесть и заслоняли лежащего на ней спинами. Павлюк рванулся вперед, оттолкнул мешавших видеть ему и замер. Перед ним лежал отец с осунувшимся лицом, с перевязанной головой, с закрытыми глазами, плотно сжатыми губами, без признаков жизни.

— Что же это? — упавшим до шепота голосом пробормотал Павлюк. Но этого звука было достаточно, чтобы губы старика зашевелились и он стал проявлять признаки жизни. С невероятным усилием он приподнял веко левого глаза, правый был закрыт от кровоподтека, и зрачок его остановился на сыне. Что-то живое блеснуло в потухающем взгляде.

— Па-а-влюк, — с трудом произнес старик, — наг-нись...

Павлюк стал на колени и припал губами к руке отца.

— Сыночку, — продолжал с усилием Завейко, — про-сти... сам виноват... дол-жно быть... помру...

— Ему нужен покой, — сказал один из присутствующих. Это был доктор.

— Молчи, батько, молчи. Я не уйду. Я буду тут или рядом в комнате...

— Погоди... шел к лекарю... дома... нет... Встретились... завезли... шутом... обида... не стерпел... ударил... а мне... голову... бу-у-тылкой... до мозга... Бла-гослов...ля...ю и не пей... без... меня...

Старик смолк и порывисто дышал. Остаток крови, текущей в жилах Павлюка, хлынул к сердцу; он схватился руками за бока у ребер, желая вдавить обратно рвущееся наружу сердце. Глухой, подавленный стон пресекался. Он, шатаясь, поднялся на ноги; опьяненными злобой глазами обвел окружающих и сквозь зубы произнес:

— Мерзавцы!... Старика!

Присутствующие молчали. Доктор взял за руку дрожащего Павлюка и повел его через ряд комнат, где в зале усадил его в кресло. Вся компания, состоящая человек из де-

сяти, следовала за ними. Это все были пшотообразные балбесы, одетые в модные пиджаки и жакетки.

— Ради Бога, не волнуйтесь, малейшее волнение старика, и последняя надежда на выздоровление иссякнет, — уговаривал доктор. — Я сейчас удалюсь, а завтра утром видно будет, что делать. Отправим или в больницу, или домой... Заприте двери, ведущие к кабинету, и пусть фельдшер сидит около больного. Приказание доктора немедленно исполнили и он уехал домой.

Павлюк сидел в кресле неподвижно, устремив перед собой взгляд, полный слез. Он весь осел и стал как будто меньше и еще худее. Углы губ опустились. Между бровей легла глубокая складка; лицо подернулось землисто-зеленоватой тенью. Капля крови показалась на уголке рта... Все существо его было — желчь, слезы, бессилие...

Кругом что-то шептали. Вначале он не слышал, не разбирал, не понимал, что происходило около него... Но вот отрывочные фразы стали долетать до ушей... Павлюк вслушивался... Компания недавно пьяных, теперь отрезвевших от кровавого приключения шалопаев вела беседу о происшедшем: «Собственно говоря, это безобразие... вольно было соглашаться... пошел играть скомороха, ну и пляши, а он в обиду... И ведь крепко смазал по харе Андриюшку... а тот его бутылкой по голове... не заносись, знай свое место...» Андриюшка был молодой человек высокого роста, почти великан, со злым выражением лица. Пиджака и жилетки на нем не было, а на белой рубахе в двух-трех местах виднелись капли крови... У глаза был синяк.

— Сам виноват, — говорил он. — Я за свои деньги по уговору желаю удовольствие получить. Скажу: плавай по полу, ну, и плавай; скажу: пляши, ну и пляши. Захочу плюнуть в харю, ну и подставляй... А он за мой плевок да меня по уху... ну, вот и казись...

Точно ужаленный, вскочил Павлюк с места. Судорога искривила его лицо, нижняя челюсть, отвиснув, тряслась. Он сжал кулаки и впился затуманившимися глазами в Андриюшку. Компания невольно смолкла. Наступила гробовая тишина. Только большие старинные часы медленно тика-

ли и едва слышно щелкала, перескакивая, секундная стрелка. Каждый из присутствующих чувствовал, с затаенным дыханием, приближающуюся бурю. Точно дикая кошка, Павлюк прыгнул на великана Андриюшку и вцепился ему руками в горло... Тот силился оторвать заострившие пальцы, но напрасно. Точно железные, они давили его и Андриюшка едва хрипел: «Спасайте! Он задавит меня!» Вся ватага кинулась на Павлюка, выручать товарища. Павлюк бросил Андриюшку и в диком исступлении наносил удары направо и налево. Но сила солому ломит, и бедный Павлюк стал ослабевать под ударами вдесятеро сильнейшего противника. Дикий раздирающий крик Андриюшки заставил расходившихся приостановить избиение Павлюка. Он вертелся по зале в каком-то отчаянном испуге, желая что-то стряхнуть, оторвать от своих ног. Что же представилось глазам присутствующих: в икру великана впились зубами Галатея и, не выпуская изо рта ноги врага, летала по воздуху, растопыря четыре лапки и выпрямивши свой кренделеобразный хвост.

Несмотря на трагическую минуту — многие рассмеялись, прежде чем спасти растерявшегося приятеля. Павлюк почти без чувств полулежал на диване.

Наконец, кто-то догадался, схватил стул и пустил им в Галатею. Та взвизгнула, выпустила ногу, но через мгновение ловко поймала зубами Андриюшку уже за другую икру.

— Оторвите этого дьявола! — вопил он. Опять пустили стулом в сучонку, та ловко увернулась и, оскалив зубы, тявкнула на нападающего и, быстро повернувшись, ловким маневром впились зубами в первого попавшегося. Этот начал такую же бешеную пляску, а Галатея снова, с поднявшейся дыбом шерстью, распластанная, летала по воздуху. Она мужественно, полная геройской отваги и сознания своего долга, защищала своих хозяев.

Но вот чьи-то руки подняли палку и с силой ударили по спине Галатею; та, с раздробленным позвоночным хребтом, мешком беззвучно упала на землю, дернула раза два лапками и умерла геройской смертью.

.....
.....

На другое утро старика Завейко отправили в больницу, а сына домой...

Глава IV

СОН НАЯВУ

Несколько дней Павел ничего не мог узнать о здоровье отца. Он сам едва отошел от побоев. Но скрипучее дерево весь век свой скрипит. Доктор, подавший помощь в неизвестном ему доме, раз пять был у него: ухаживал за ним и, сколько мог, облегчил его страдания. Как только сознание и силы возвратились к Павлу, он попросил доктора навещать батьку, как он называл отца, и сообщить ему о состоянии его здоровья. Доктор исполнил его просьбу и, к счастью Павла, известил, что старик Завейко медленно, но поправляется, а когда узнал о своем Павлюке, что и он опять заскрипел — ободрился, и нетерпеливо ждал и своего выпуска и свидание с сыном.

В один из ясных зимних вечеров, уже поднявшись с кровати, но не смея, по приказанию доктора, выйти на улицу, Павел сидел у своего окошечка, в котором не видно было сахарной бумаги, — она была заменена стеклом, — и отогревал свое брненное тело. Печка каждый день топилась присланными кем-то дровами, и жильцы углов и щелей отошли и густыми кучками грелись вместе с хозяином; только недоставало героя-Галатеи. Она давно была выброшена в помойную яму. Вкусный мясной суп был обедом, а первые дни Павлу доставляли даже куриный бульон. Это все добрая душа — доктор — устраивал больному. «Только бы батько был со мной, — думалось Павлюку, — как бы хорошо было, тепло и сытно...» Медленно, однообразно тянулось вре-

мя. Это однообразие только два раза в день нарушалось приходом старой, занимающейся нищенством хозяйки, которая затапливала печь, варила суп и снова отправлялась на промысел. Павлюк ждал прихода доктора. Наконец, услышал скрип отворяющейся двери и в конурку вошел его спаситель и на этот раз не один. С ним вместе вошел довольно полный господин с бритой физиономией.

— Вот, Павлючек, — заговорил доктор, — я привел к вам моего доброго знакомого ***. Вы можете быть ему полезны, можете, до приискания места, заработать кой-какие деньги.

Бритый господин подошел к Павлюку, подал руку, пожал ее и сел на свободную табуретку. Доктор поместился на кровати.

— Вот в чем дело, — начал спутник доктора. — Я задумал составить очерки темного киевского мира, задумал ознакомиться с самыми мрачными уголками, ознакомиться, как бы это выразиться...

— Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите прямо, — перебил Павлюк, видя, что посетитель подыскивает слово.

— Видите... я бы хотел ознакомиться с киевскими трущобами и с их обитателями, с подонками и отщепенцами общества. Они мне интересны, как типы вообще, а также я задумал вытащить на свет Божий их житье-бытье и дать возможность ознакомиться с ними публике.

— Будьте моим проводником, и за каждое путешествие дневное или ночное вы будете получать с меня вознаграждение в сумме трех рублей. Я дам вам теплое пальто и личный костюм.

Павлюк засиял. Это была для него манна небесная, сон наяву. О таком заработке даже не мечталось. От волнения дрогнувшим голосом Павлюк поблагодарил за предложение и только возразил, что вознаграждение слишком велико, что он возьмет и дешевле и может быть очень полезен. Все уголки ему знакомы, начиная с приюта Т—ко и кончая постоянным двором на Ниж. В—ле.

— Ну вот и прекрасно. Относительно платы не беспокойтесь, это не так много, как кажется, — потому что я человек

занятой и смогу предпринимать путешествие не более двух-трех раз в неделю, а может быть, и того меньше. Дайте мне только следующий совет: как нам туда являться, под каким видом. Нужно ли переодеваться или можно явиться в том, в чем мы ходим...

— Видите ли, — отвечал Павлюк, — переодеваться, чтобы более подходить к их внешности, — не надо. Все они отлично знакомы друг с другом и сразу признали бы в вас чуждого их среде человека. Стали бы сторониться, предполагая в вас агента, а не простого наблюдателя и, пожалуй, это было бы небезопасно. А вы идите со мной и прямо говорите заинтересовавшему вас субъекту, зачем вы пришли, а если еще кой-что дадите, то и совсем будет хорошо. Но платье надо иметь специальное и от времени до времени давать его вываривать, а то, знаете, все может завестись...

— Пожалуй, вы правы. Я последую вашему совету. Чем меньше, стало быть, таинственности — тем лучше?

— Н-да... мне так кажется. Впрочем, мне никогда еще не приходилось участвовать в таких экскурсиях, дальше будет видно, как поступать. Я же много, еще раз искренне благодарю и вас, и моего спасителя-доктора.

Слезы снова показались на красивых черных глазах Павлюка.

— Вы не волнуйтесь, — успокаивал доктор, — а то я хотел разрешить вам дня через два навестить отца, а там прийти и за путешествие вокруг света... а раз вы будете нервничать, — капут, — не пушу!

— Нет-нет — я спокоен и... и... счастлив...

— Ну, вот и прекрасно. Мы двинемся домой — мне пора. Больных такая уйма, что и не поспеть всюду.

Доктор и бритый господин простились, оставив Павлюку вперед за два путешествия и пообещав на другой день прислать пальто, платье и сапоги... Когда они совсем уж уходили, Павлюк остановил бритого господина и посоветовал захватить стенографа, чтобы тот записывал материал...

Бритый господин согласился и, еще раз поклонившись, вышел с доктором.

Прилив радости охватил Павлюка, он то смеялся дет-

ским смехом, то плакал, то опять смеялся, и жизнь показалась ему светлой, радостной, полной надежд. «Что, если мы будем ходить два раза в неделю, — мечталось Павлюку, — а то, может быть, и три, ведь это тридцать шесть рублей в месяц. Чего-чего я не сделаю на эти деньги. Батьке куплю пальто теплое-теплое... и штаны, и шапку, а то у него хуже моей. Куплю белье исподнее... мыла фунт, гребень частый... Персидского порошку, чтобы вывести эту армию тараканов и клопов... Самоварчик! — будем чай пить... да еще с сахаром! Каждый день будем суп или щи варить, а то кашу... с салом, да со шкварками! Вареники! Галушки! Батьке каждый день — шкалик горилочки; ему без нее нельзя... без нее ему смерть... а я ни-ни... это только с горя можно, а теперь ни-ни... ну разве когда малость!..»

Мечты Павлюка росли, росли... ему казалось, что нет предела тому, что он может натворить на заработанные деньги: и нюхательного табаку отцу, и для курева, и теплые чулки, чтоб тепло ему, старому, было, и много-много еще хорошего, вплоть до книжки себе, которую он будет читать во время отдыха... Только бы здоровья, здоровья Бог послал... А грудь больно... колет... Хотя теперь куда свободнее дышать... Одно нагоняло на него тоску и омрачало радость: не будет с ними паршивой, пегой Галатеи. Уж как бы ей жилось хорошо, точно в раю. Жрала бы, подлая, сколько хотела, грелась, щенят бы не побросали, а дали выкормить: одного себе оставили, а других раздали... а теперь она, смердячая пса, и не чует, какое счастье привалило ее хозяевам... Ну, да что поделаешь! Она подохла славной смертью, дай Бог иному человеку так помереть... Мало ли на пуховиках людей помирает, а сами они...

.
.

Павлюк мечтал, а ночь надвигалась и своими черными крыльями покрыла Украину с широким, скованным льдом Днепром. И ее таинственная тьма поглотила и Киев с бога-

тыми зданиями и с гордыми осыпавшимися тополями, и дорогую сердцу Лавру и памятник Хмельницкого и Св. Владимира с огромным крестом, смотрящего в седую даль, и храм Владимирский, чудо искусства... и верхний град, и Подол, и белые мазанки, и бедную хибарку с Павлюком.

Только внутри города — чувствовалась жизнь, и свет электричества, доказательство гения человеческого ума, боролся с темнотой ночи; но был все-таки жалок, ничтожен перед мощью таинства природы... Против Думы горели фанари заведения «Аль—р», где увлекают шансонетные певички своими песенками неунывающих, веселящихся россиян, где лысеют их головы и карманы, и где разврат, сластолюбие, истома фальшивой, подогретой страсти кладет каинские метины на лица людей. В конце Крещатика опять такое же злачное и прохладное место «Ш—то»... там тоже... тоже и тоже... Жизнь кипит! «Жизнь»? Ой ли!.. Не пощечина ли это настоящей жизни... А там, внизу, в трущобах и в бедных хатах спят, и копошатся клубком, как черви... люди! Их тоже окутала ночь своей мглой и, быть может, под ее покровом этот черный, закопченный люд сможет хоть на миг отдохнуть и от своих страданий, и от преступлений... Жалкий бродяга, которому предстоит умереть в канаве, женщина, потерявшая облик женщины, спившийся чиновник, подкидыши, выросшие неизвестно в каких клоаках, нищие, слепые, горбатые, хромые, безногие, беспаспортные, не помнящие родства, еще молодые, но уже состарившиеся девушки и молодые люди, воры, бездомники, голодные, все и все... успокоены ноченькой темной и сон на несколько часов послал покой их душам, и груди их, вдыхая смрад, выдыхают его обратно и снова вдыхают эту отраву в себя...

Вы не верите?! Сходите, посмотрите!

А ночь все темней. Свод небесным черным куполом надвинулся над спящей землей...

.
.

Электричество погасло... В тумане дрожат фонари... Сыро... холодно... непривычна Киеву такая зима, не по характеру ему...

Извозчиков нет... Запоздалые пешеходы... Какая-то на-малеванная женщина идет, шатаясь из стороны в сторону, стараясь придерживаться стенок... Спящие ночные сторожа... Вереница откуда-то появившихся собак... Покрытые льдом проволоки телеграфов и телефонов, передающие с быстротой молнии слова и мысли человека... и так тихо, тихо было кругом... Все уснуло... слезы... радость... горе... богатство... бедность... помутившийся разум... все!!

Глава V

ЗА ДОБЫЧЕЙ

Получив деньги, Хрящика стала еще разговорчивей.

— Милые мои, дорогие, — говорила она Пантуху и Курилич, — надо так устроить, чтобы кто другой не перехватил. Там уже справлялись и от Керпеля, и от Коржевой. Только их дело не налажено. Мое же в полном ходу. Так план мы такой выкинем: я отправлюсь к ней и как будто войду в положение барышни. А уж какие глаза! Так мол и так, место нашла — чтицы; желаете деньги получать — получайте... А фигура! Прямо — изваяние! Только смотрите: одним задатком не отделайтесь, а то я... знаете меня... слуга верная, а если насчет обмана, так и донесу...

— Ну, ты, старая карга, не говори глупостей! — оборвал ее Пантух. — Донесешь! Подумаешь, испугала!... А сама-то чиста, что ли? Так пристегну, что и перьев не соберешь.

— Ну-ну, не сердись... пошутила, а уж он и впрямь сердце разволновал. Что говорить — все мы под одну масть, всех нас на любом фонарике; а только меня все же и обойти этим угощением можно... Я добываю вам товарец, а зачем — мне знать не нужно... Вам надобно помоложе да попримичней, мы и добываем, а на что, разве знаем?... Ведь читать я ее

приглашаю или в гувернантки... а куда вы ее поставите и что над ней сотворите, разве знать я должна... Моя хата с краю и я ничего не знаю!

Хрящиha говорила приторно-ласково, прищунив глаза и шамкая вставными зубами. Пантуху все это надоело, и он, озлясь, крикнул:

— Молчи, чертова перечница! Подавай деньги назад! Не надо мне никого! Вези свою прелесть куда хочешь, а я сейчас же дам знать полиции, какими ты делами занимаешься. Ишь, напугать меня вздумала, ворона общипанная, песья кровь! Давай деньги назад! Слышишь, что говорю? Чего съезжилась, точно яблоко печеное? Подавай деньги!

От этого требования старая мошенница вся вошла в себя. Казалось, все суставы вошли внутрь и только костлявые руки суетливо прятали деньги в ридикюльчик...

— Полно, полно! расшумелся и невесть отчего. Денег я тебе не дам обратно. Уж если пенензы попали ко мне, так назад не отнимут... Не-ет. И пугать друг друга нечего... Коли по правде сказать: ни ты меня, ни я тебя не выдам! Потому обязательно друг друга запутляем... Ну, будет! Я сейчас лечу тудюю, обделаю дельце в лучшем виде: сами знаете, лучше меня никто не оборудует... Много кредиточек и червончиков через Хрящиxу прикопили, да в сундучки попрятали... Много мы птичек уму-разуму обучили, в обиход пустили... Ну, молчу, пан ясновельможный, молчу и лечу, а через часок сюдою вернусь и доложу, когда, в какое время жарптица с золотыми перышками заявится, и что и какое ей облачение послать надо... Нужда вопиющая! Ни платышка, ни ботиночек, ни шубочки, ни белья; словом, гола, как огурчик... Иду, иду...

Хрящиha подбежала к Пантуху с почтением и низким поклоном, взяла его руку двумя руками и, выразительно пожав, быстро вышла из комнаты и направилась к намеченной жертве...

— Убралась, окаянная, всю печенку мою изозлила, — обратился Пантух к Курилич, которая все время невозмутимо слушала разговор и что-то такое вязала из бисера...

— Стоит волноваться! Не знаешь ты ее, что ли? Никто

ей так не платит, как мы, а за деньги она черту на рога полезет, да не один раз, а сколько потребуем.

Благородная, благоденствующая чета направилась в столовую пить кофе с густыми сливками и заедать горячими пончиками поварского приготовления...

Глава VI

В МЕБЛИРОВАННЫХ КОМНАТАХ

По лестнице, ведущей в меблированные комнаты под громким названием «Эр—таж», подымалась женская фигура, одетая, несмотря на очень сильный мороз, в совершенно легонькую кофточку. Это была очень стройная, с замечательно красивым и симпатичным лицом девушка лет двенадцати. Страшная усталость чувствовалась и в медленной походке, и в выражении больших глаз, и в чертах начинавшего бледнеть личика и, казалось, — в каждой складке измятого серенького шерстяного платица. Расплетаясь и тоже, точно усталая, болталась по спине коса, спускаясь много ниже талии. Поднявшись на три лестницы, девушка остановилась, тяжело переводя дыхание, опершись левой рукой о стену, а правой поправляя спустившиеся на лоб волосы. Ноги ее видимо отказывались служить и дрожали, обутые в изорванные прюнелевые ботинки. «Господи, что же это? как же?..» — задала она самой себе вопрос и, снова преодолевая усталость, стала подниматься выше. Пройдя еще пять лестниц, Улюшка Хрюбина дотащилась до самого верха и отворила стеклянную дверь, ведущую в коридор затрапезных, грязных меблированных комнат, несмотря на то, что эти комнаты помещались на углу Кре—ка. Ее обдал спертый, пропитанный не то лекарствами, не то чем-то другим воздух. Отворив дверь одного из номеров, Улюшка вошла в него и, не раздеваясь, тяжело опустилась на расшатавшееся, обитое серо-грязной пеньковой материей кресло. Долго сидела она, застыв в бессильной позе. Обстановка ее

маленькой полутемной, выходящей на двор комнатки была убога. Голубенькие обои с мелкими цветочками, диван, два кресла, три стула, комодик, жестяной умывальник, платяной шкаф, дверцы которого были открыты и показывали, что он пуст, маленький раскрытый чемоданчик, тоже пустой, если не считать каких-то бумаг, валяющихся на дне, да двух-трех штук белья. На комодке лежала наполовину порожняя восьмушка чаю, мешочек с несколькими кусками сахара, почти очерствелый полубелый кусок хлеба и оловянная чайная ложечка. Жестяная лампочка с закоптелым стеклом, кончик которого был отбит, довершала убранство комнаты. Пыль всюду, клочки бумаги, сломанное стальное перо и какой-то синий лоскуток на полу. На столе баночка с чернилами, ручка от пера, к которой оно было привязано суровой ниткой, огарок свечи, вставленной в бутылку, вот и все...

Улюша продолжала сидеть в кресле и мало-помалу стала засыпать.

.

Дочь средней руки чиновника, она провела свое детство, отрочество в достатке. Ее отец, кроме жалованья, имел свои деньги, доставшиеся ему по наследству; горячо любя Улюшку, он дал ей возможность кончить гимназию. Улюшка училась хорошо. Когда она была в четвертом классе, умерла мать, а когда кончила гимназию — умер и отец от апоплексического удара и не оставил ей ничего, прожив к этому времени те несколько тысяч, которые ему достались от дальней родственницы. Осталась Улюшка одна с пятьюдесятью рублями. Постояла она у гроба отца, поплакала; схоронила, опять поплакала над свежей могилкой и полной сироткой возвратилась домой. Тут она немного раздумалась и, как ни была огорчена смертью отца, — жизнь ей казалась все-таки заманчивой, труд, самостоятельная работа прекрасной, и, полная надежд, Улюшка распродала оставшуюся рухлядь, махнула в Киев — добывать работу. Кину-

лась в житейские волны без страха, плыла бодро, но никак не удавалось ей пристать к какому-нибудь берегу, не говоря уже о пристани. Всегда налетит откуда-то волна и отбросит снова на середину реки, и бедная Улюшка очень скоро стала изнемогать, терять силы и каждое мгновение она могла погрузиться в холодные, мутные волны.

.

Раздался стук в дверь номера. Улюшка поднялась с кресла и спросила:

— Кто там?

— От княгини Ц***, — отвечал мужской голос.

— Войдите...

Вошедший подал конверт. Улюша распечатала его и стала читать:

«Милостивая государыня! Переговорив с мужем, мы решили взять вас в гувернантки к детям. Наши окончательные условия: полное содержание и шестьсот рублей в год жалованья. Княгиня Ц***». В постскрипуме было прибавлено: «Ждем немедля».

Радостно стало на душе Улюшке — конец мытарствам, конец голоду, конец страданиям!

— Прсят ответа, — сказал посланный, увидав, что письмо прочитано.

Улюша бросилась к столу, написала согласие, поблагодарила княгиню и прибавила, что переедет в их семью через час времени.

Посланный ушел. Улюша бросилась на колени и долго, долго молилась. Затем она стала думать о том, как и в чем она явится в аристократический дом. Неужели в этих обносках?... а ботинки?... а неимение даже верхнего приличного пальто?... а отсутствие белья?... разве так возможно! Ее сочтут за нищую... Торопливо зажгла Улюша лампу и... странно: сегодня она горела ярче, чем обыкновенно. Вся комнатка была вполне освещена. Улюша подошла к шкафу, открыла его и остановилась в изумлении. В нем висело два платья, которые она недавно заложила на Фу—кой, у Р—го.

Ей нечего было есть, нечего было отдать за убогую квартиру и она заложила. Господи, что же это? Кто выручил и когда успел? ведь, входя в комнату, она видела, что шкаф был пуст. Вероятно, она вздремнула и в это время... но кто?.. Не княгиня ли узнала и, не желая ее ставить в неловкое положение, выкупила? Но квитанция у нее. Без квитанции нельзя. Улинька бросилась к чемодану, чтобы посмотреть, там ли квитанция, и опять остановилась, пораженная. Чемодан был полон белья, которое тоже было заложено в тяжелый, голодный день... Мысли ее стали путаться. «Или я схожу с ума, или тут какое-то колдовство...», — думала Улинька. Быстро сняв платье и оставшись в потертом корсете, она хотела уже надеть новое, но увидала себя в зеркале и остановилась. Нет — так нельзя. Юбка тоже была невозможна, и Улиньке стало гадко самой себя: как можно было ходить в таких отрепьях! Быстро она начала снимать с себя все и менять на чистое, нарядное... «Какая странность: я совершенно забыла, что у меня была такая хорошенькая, нежно-голубая, прозрачная рубашка с такими красивыми прошивками... а какая юбочка чудная: шелковая, бледно-лиловая с черными кружевами и шелковые с лиловыми стрелками чулки... Нет, с этими хлопотами о месте, с этой нуждой я совсем потеряла память». Одевшись, Улинька подошла к зеркалу и ахнула: какая она была красотка! Какой дивный стан, какая чудная шейка, какие плечи, какие маленькие розовые ушки! А глаза? а точно наведенные брови! а волны роскошных шелковых волос, а ротик, а губки, из которых нижняя нервно подергивалась? а как горный снег зубы... О! в этот момент она была влюблена в себя!... Щеки ее горели и утомления от забот и нужды не было и следа...

Быстро стала одеваться Улинька. Вот она уже в темно-синем платье, в кофточке; уложила остальное, заперла чемодан, позвонила прислугу, дала ей на чай и быстро вышла из убогого уголка, боясь оглянуться, боясь, что нужда протянет к ней свои костлявые руки, снова вонзят острые когти и уже не выпустит никогда.

Почти бежала бедняжка с лестницы. Ей слышались сзади шаги, и не человеческие, а какие-то странные, звучные,

— точно о каменные плиты лестницы стучали кости... Улюша казалось, что за подол ее платья хватались чьи-то руки, что до шеи, где кончался зачес волос, долетало дыхание, но не теплое, живое, а холодное, похожее на дуновение мороза... Вот и улица. Улюша вздохнула свободно. Наняла извозчика и поехала по известному ей адресу... Какое счастье! еще вчера она была у княгини и ей сказали, что не могут предоставить места гувернантки детей, не имея чьей-либо рекомендации, и вдруг... Это Бог услышал ее молитвы, до его лазурного трона долетел ее вздох...

Вот и парадный подъезд. Выскочил швейцар, предупредительно ссадил с извозчика, взял чемодан, забежал вперед, галантно отворил дверь, приветливо сказав: «Пожалуйста». Улюша отдала деньги швейцару, чтобы тот передал извозчику, и огляделась. Она стояла на богатой лестнице, освещенной электрическими канделябрами, из которых каждый держал закованный в латы рыцарь. Стояли тропические растения, пахло цветами, и грудь вдыхала свежий хороший воздух. Мягкие, пушистые ковры покрывали ступени лестницы, и, руководимая вызванным электрическим звонком швейцара лакеем, беззвучно ступая, Улюша стала подниматься по широкой лестнице. Вот она перед зеркалом. Ее стройная фигурка отразилась в нем и показалась Улиньке очень привлекательной... Вот она вошла в высокий двухсветный зал. Он поразил ее роскошью и вкусом: потолки были изящной лепной работы, стены медальонами, обиты палевым муаром; белая с легкой позолотой мебель, хрустальные люстры на красивых художественных цепях; паркетный пол, лоснящийся и гладкий, как зеркало. Все люстры ослепительно ярко горели электрическим огнем; хрусталь переливался цветами радуги и подвески от непонятной, неизвестной причины колебались и издавали приятный, нежный стеклянный звон.

Улюша несколько раз скользила и упала бы, если бы сопровождавший лакей не поддерживал ее. Он был одет в голубую ливрею с аксельбантом, короткие панталоны и белые шелковые чулки.

Вот она уже прошла почти всю палату и вдруг очутилась в совершенной темноте. Электричество погасло. Улюша слышала только шаги удаляющегося лакея. Полная тьма окружала ее. Мгновение она даже перестала соображать, куда идти: прямо, налево или направо... Но вот в конце огромной, бесконечной анфилады комнат показался свет. Кто-то шел на нее с лампой. Убогим казался этот желтый керосиновый свет в этих громадах после ясного, белого электрического света. Фигура приближалась все ближе и Улинька стала слышать шмыганье ее ног. Шаги казались ей знакомыми. Она пристально вглядывалась в приближающегося человека. Крик дикий, страшный вырвался из груди Ули... К ней подвигался ее покойный отец... Ее голос эхом прокатился по пустым комнатам... Улинька проснулась...

Перед ней сумрак спустившегося вечера. Убогая комната. Засохший хлеб. Пустота. Пыль. Лампочка. Перо. Чемодан. Уля встала. Раздался стук в дверь. На этот раз наяву.

— Войдите, — сказала она, как сказала во сне.

Глава VII

НАЯВУ

В комнату, с мягкой улыбкой, прищуря глаза так, что невозможно было рассмотреть их выражения — вошла Хрящиха...

— Извините за беспокойство, — начала она и сделала не то поклон, не то книксен.

— Что вам угодно? я к вашим услугам; пожалуйста, садитесь, — отвечала Улюшка.

— Узнаете ли вы меня? Я уже была у вас по другому делу. Кружева приносила, предлагала, не купите ли...

— Да-да... но что теперь вам угодно?.. Если опять что-нибудь продать, то я должна предупредить: я сама в настоящее время нуждаюсь, стеснена... и ничего не могу купить, — заминаясь и покраснев, возразила Уля.

Хрящиха в это время, сквозь прищуренные веки, зорко и пристально смотрела на девушку, казалось, хотела загипнотизировать ее.

— Нет, милая паненка, я пришла по другому делу, по другому делу, моя цурка... я ведь старуха, вы, паненочка, мне не то что в дочери, а во внучки годитесь, так я вас могу своей дочкой называть...

— Но что вам угодно?!

— Ишь, молодость. Нетерпение берет... Сейчас, сейчас узнаешь... Как была я тогда с кружевами, оглядела комнатку, посмотрела на личико бледное, на глазки заплаканные, на платьице поношенное и сейчас же смекнула... плохо дело, тяжело паненке живется, и давай наводить справки у прислуги, у хозяина — говорят, нужда, нужда страшная! Так мне жалко стало, хоть сейчас заплакать.

Хрящиха отерла сухие глаза и продолжала:

— Надо, думаю, помочь, работы какой найти, уроков или что другое...

Улюша встрепенулась...

— Что, паненочка, вздохнула, прислушиваться стала? Слушай, слушай дальше: бегала я, бегала по знакомым, — где уроки предлагала, потому знала, что уроки искали... в газетках вычитала, — где переписки, где в продавщицы предлагала — не берут. Везде знакомство нужно, и вдруг прихожу в один дом, хороший дом, паны хорошие живут, зажиточные, и ласковые и сердечные, и говорю им, так и так, барышня в нужде проживает, нет ли места какого... а они вдруг говорят, пусть сюда приезжает, нам чтитца нужна, романы читать. Очень они тронулись рассказами моими про нужду про вашу и даже заплакали. Сидят и плачут оба, муж и жена... Я им ручки целовать...

Улюша рванулась и от радости поцеловала Хрящиху.

— Ишь, обрадовалась! Самое сладкое я под конец скажу: жалованья 25 карбованцев, квартира, стол, отопление, освещение и все платье, и белье, и... все, все... Только требуют обязательно одного, без этого и не возьмут, пусть и не ходит...

— Боже! да я на все согласна, на все! В чем дело, — говорите?

— Мы, говорит, любим, чтобы гувернантка или чтица богато была одета, в шелку и чтобы белье дорогое... Чистота, опрятность прежде всего...

— Но у меня...

— Паненка, не перебивай... Мы, говорят, знаем, что у ней денег нет, мы ей все сошьем, а она нам понемногу выплачивать будет. Подпишет штётец и конец... вот души какие, таких теперь других и не встретишь! Нельзя, говорят, ей в тряпье ходить. У нас гости бывают, и все кавалеры разные, при них тоже читать придется, ну и надо быть понарядней... а я про себя думаю, вот и хорошо, что понарядней, может, и женишок подвернется, пан какой-нибудь...

Уля не помнила себя от радости. Кончились ее мытарства. Она будет сыта, обута — на свои трудовые деньги.

— Когда же можно переезжать? — спросила она у Хрящихи.

— А вот как, завтра, чтоб ты, паненка, не сомневалась, к тебе портниху пришлют, мерочку снимут и белья привезут, а там дня через три и туалетик доставят, вроде пенюрячка... а там я соседу с рук на руки тебя, ангелочка, и сдам... Счастливая ты! другая бы, может, с голоду померла, а ты в довольство попала... Значит, по рукам?...

Улюша протянула руку.

— А как зовут тебя? Я там, как хвалила тебя, сказала, что Еленой... может, и верно, Еленой... Прекрасная Елена...

— Нет, меня зовут Улей... Ульяной...

— А документы есть?

— Есть...

— Какие?

— Паспорт, метрическое, свидетельство об окончании гимназии и...

— Ну ладно, давай их сюда. Я передам господам Пантухам... Пусть видят, что ты благородная и с науками. Словом, как надо быть паненке...

Уля достала бумаги и передала их Хрящихе. Та быстро их спрятала в карман — точно боясь, что ее жертва разду-

мает и отберет их обратно. Но бедная Уля не подозревала ничего. Она была опьянена счастьем. Ей и в голову не приходило, в какой ужасный вертеп она попадет, откуда нет выхода, кроме вертепов еще хуже и ужасней... Точно бабочка на огонь, летела она в расставленные сети. Хрящиха тряслась от волнения и довольства, что юная, хорошенькая головка так, очертя, бросается в объятия разврата, в объятия власти тьмы, созданной светом. Она уже считала барыши, которые получит. Она видела в своем воображении Улюшу в бархате, дорогих камнях, при свете электрических люстр, танцующую под игру тапера. Богачи, и старые, и молодые, сыпят Пантуху золото, а он отсыпает часть ей и она богатеет, продавая чужое тело, живой товар... По лицу Хрящихи разлилась блаженная улыбка и она зажевала своими вставными зубами.

— Ну, я пойду, моя паненка, а вот тебе десять рублей на расходы... сочтемся, — Хрящиха вынула золотой и подала Уле. Та еще раз от всего сердца поблагодарила старуху и, крепко поцеловав, проводила ее из номера до самой лестницы. Хрящиха не шла, а летела к Пантуху с приятной вестью о легкой победе. Улюша, тоже довольная, вернулась в свой номер и уже со спокойной совестью легла на убогую кровать и стала засыпать под песню уличного гула, отдаленно доносившегося до нее. Радостно улыбалось ее красивое личико. Должно быть, радужные грезы посетили ее голову, душу, сердце...

Так она спала до следующего утра. Утром к ней явилась Хрящиха с портнихой. Привезли превосходное белье, сняли мерку для платья и через три дня обещались быть снова. Наконец, миновали и три заветные дня, и Улюша отправилась со своею благодетельницей Хрящихой к Пантуху, — отправилась, богато одетая в фаевое платье, шелковое белье, чулки, огромную с вывертом шляпу и бархатную кофточку с куньим боа. Странно ей было видеть себя в таком наряде, но мысль о том, что так хотят ее новые хозяева — пресекала все остальные мысли, и Уля, наконец, остановилась у заветной двери. О, если б знала она, куда приходится ей переступить, через какой порог — с каким бы ужасом

и омерзением бежала бы она прочь, как бегут от чумы; прочь, прочь от этого проклятого места. Но... Отворилась дверь и захлопнулась. Надолго ли?

Быть может — до старости!

Глава VIII

НА СЛУЖБЕ

Господин Пантух и г-жа Курилич очень любезно и приветливо встретили Улюшу. Они отвели <ее> в комнатку, предназначенную ей, очень чисто, даже богато убранную. Указали на комод и шкаф, в которых она могла найти все необходимое. Улюша разобрала свои жалкие пожитки, вынула карточки отца и матери и, довольная, мысленно беседовала с ними. Незаметно прошел день, наступил вечер и любезный г. Пантух попросил ее переодеться и выйти в гостиную, где он познакомит с двумя-тремя его знакомыми. Улюша поправила прическу и с заалевшимися от волнения щечками пошла за Пантухом. Он ввел ее в пестро обставленную комнату, где уже сидела его супруга, госпожа Курилич, и трое гостей. Курилич представила им свою новую чтицу, — все трое поклонились ей и как-то странно переглянулись. Улюша села и чувствовала, что новые знакомцы с восхищением смотрели на нее и, что называется, ели ее глазами. Один из них был красивый мужчина лет сорока, стриженный ежиком и с красивой, длинной седой бородой; другой — старик лет под шестьдесят — полный, с седой головой и подкрашенной, модно стриженной бородкой; третий — молодой человек, очень красивый, с жгучими черными глазами, красивым лицом, стриженной, пысевшей головой и маленькой бородкой. Довольно вульгарным тоном, непривычным для Ули — они стали заговаривать с ней, подносить пошлые комплименты ее красоте вообще, — глазам, носу, щекам, шейке, ушкам, талье, — и Улюша слушала их, краснела и думала: «Какие странные люди:

первый раз видят меня, а говорят так, что и добрые знакомые не решатся». До слуха ее долетал звук рояля, топот танцев, смех смешанных женских и мужских голосов и какое-то странное ощущение испытывала она в этой новой, чуждой ей обстановке. Все было ей чуждо — и пестрая, позолоченная мебель, и зеркала, и нахальные взгляды мужчин, и их речи, и даже те люди, к которым она поступила добывать кусок трудового, как она думала, хлеба. Изредка, вынужденная отвечать, Улюша несвязно произносила слова, краснела и часто слезинки навертывались на ее ресницы и отдельными капельками срывались и падали на лиф и на юбку. Так прошло около часа.

Затем г. Пантух оставил ее одну, попросив подождать их, сам же вышел и с госпожой Курилич, и с своими гостями в другую комнату. До слуха Улюши стали доноситься голоса, о чем-то спорившие... Она не могла разобрать, в чем дело, не могла понять из тех урывков, из тех слов, что доносились до ее ушей...

Наконец дверь отворилась, в комнату вошел уже один молодой человек, без своих сотоварищей и г-жи Курилич. Интимно, с какой-то омерзительной ласковостью сел он около Улюши. Курилич приказала подать фруктов и бутылку шампанского. Все это очень быстро внесли. Г-жа Курилич налила три бокала и незаметно, во время разговора, в Улюшин всыпала какой-то порошок. Долго не соглашалась Улюша выпить, но, наконец, уступила настоятельным просьбам и отпила полбокала; непривыкшая пить, Улюша разом почувствовала, что вино бросилось ей в голову. Молодой человек любезно упрашивал допить бокал до конца — говоря, что не следует оставлять зла. Улюша выпила; сладкая истома разлилась по ее жилам... Тут вмешалась предупредительная Курилич и, найдя, что в этой комнате слишком накурено, предложила молодому человеку и Улюше перейти в другую...

.

Прошел вечер... Прошла ночь... Настало раннее утро... Снег обильно выпал и покрыл белой искрившейся пеленой мостовые, крыши, тополя, уличные фонари и тумбы... Небо, голубое, покрытое дымкой мороза, как-то ясно, чисто, улыбаясь, смотрело на город... Прохожих почти не было... Изредка тащился спящий извозчик, прикрытый полостью... Его лошаденка, лениво, медленно переставляя скрюченные ноги, на память плелась домой... На главных улицах стали появляться дворники со скребками, чтобы начать чистить тротуары...

Среди улиц, натопорщась от мороза, чирикали воробьи с воробьями, весело поклевывая... Природа-мать позаботилась и об этих маленьких существах...

Вот ударил колокол к заутрени... Первый удар торжественно пронесся по городу... Вот другой, третий, а вот и другие церкви стали призывать к молитве...

Глава IX

В ПАУТИНЕ

Маленькая, обитая пестрым кретоном комнатка была полусвещена голубым фонарем, бросающим вокруг себя мягкий ласкающий свет.

Пахло пачулями и мускусом. Посреди комнаты стоял кругленький столик. Белая скатерть спустилась с него и конец ее валялся на полу. В хрустальной вазе с серебряной матовой подставкой красовались почти нетронутые фрукты. Две бутылки шампанского — одна пустая, лежащая боком, другая с остатком выдохшегося вина — довершали убранство столика. Около стояло два золотых легких стула, у дивана валялась бронзовая женская туфля и красный шелковый чулок. На полукресле валялся шелковый корсет, шелковая палевая юбка, пробранная кружевными прошивками, делающими ее прозрачной; носовой платок и засохшая роза в бутоньерке.

На диване раскинулась, точно в забытьи, Улюшка. Волны распустившихся волос прикрыли обнаженное плечо и подушку.

По лицу попеременно скользила то почти болезненная бледность, то вспыхивали яркие красные пятна; грудь порывисто, часто дышала.

Время шло, а девушка не просыпалась. Дверь, ведущая в соседнюю комнату, скрипнула, приотворилась; показалось несколько растрепанных женских голосов. Появившиеся женщины были сильно подгримированы и все полураздеты. У большинства на ногах болтались туфли-шлепанцы, а грешное тело прикрывали белые кофточки и нарядные белые юбки. Между ними шепотом шел разговор:

— Эмилия, тише, хозяйка услышит, тогда попадет нам!..

— Ты, Стаська, сама орешь, а на меня оцетинилась!

— Хте нофинькая?

— Видишь — на диване лежит.

— Нашему полку прибыло.

— Бедненькая! Из образованных. Вот, так-то и гибнет наша сестра. Ну, мы все мещанского сословия, почти все из портняжек, а эта...

— Мели ерунду, тоже не сахарная... не все нам попадать...

— А жаль, сманули... И ловко же ее одурманили. Помнишь, Матильда, тебя так же... и рвалась же ты потом на волю. Голову хотела разбить о стенку, а потом ничего — свыкнулась.

— А Гонь, а Тань из Уманя... все в одна капкан попадались.

— Ты чего, Стаська, плачешь? Ишь, нюни распустила!

— Жалко. Хорошая она, непорченная, точно цветок ландыш. Ведь она думала, что в чтицах живет в благородном доме, и Оську-поганца с ней познакомили, он по-благородному стал приударять за ней.

— А сколько мадама сорвала? я думаю, рука охулки не сделала. Такой коршун осечки не даст...

— Да, тысчонку наверно!

— Ну уж и тысчонку!

— А ты думаешь, меньше!

— За меня она сто целковых взяла, да бархатное платье...

— Так-то ты! Ты с червоточинкой была... Да и нос-то у тебя кверху глядит и цвету в лице такого не было и привлекательности. Одно слово, цветочная продавщица...

Болтливые дамы разом смолкли. Послышался где-то вдали голос хозяйки. Секунда и эти доморощенные гурии разбежались по своим углам... Только бедовая Стаська юркнула предварительно в комнатку и стащила самую большую грушу...

.
.

Улюша открыла глаза и с усилием приподняла отяжелевшую головку. Видимо, не понимая, где она находится, Улюша удивленно осмотрела комнату и незнакомую ей обстановку. Облокотившись на локоть, она проводила рукой по лбу, стараясь припомнить, что с ней было. Сквозь туманную сетку вставали в ее памяти неясные фигуры: молодой человек, ее патронесса, — уговаривавшие выпить бокал шампанского... Она вспоминала, как через полчаса по ее ламам разлился точно растопленный свинец... как кровь прилила к сердцу... как неведомое ей ощущение охватило все существо... Уля задрожала, лицо искривилось от ужаса и страдания... конечности похолодели, и она, полная отчаяние, бросилась к двери и раздирающим душу голосом кричала:

— Помогите, помогите!

Точно из земли вырос Пантух.

— Что вы кричите, барышня? Вы перепугали меня и жену.

Уля бросилась на колени и твердила одно:

— Спасите меня, спасите!

— Да, что с вами?

— Погибла я... погибла... Что же это?... Куда я попала?

Пустите меня, я хочу уйти... уйти, уйти отсюда...

— Оденьтесь прежде, — любезно уговаривал Пантух.

— Да, да... Дайте мне мое платье... Мне душно... я задыхаюсь... Надо бежать...

Уля рванулась вперед, но руки Пантуха схватили ее и отбросили обратно в комнату. Уля упала на пол и, падая, разбила себе голову о стол, который зашатался и вместе со всем, что стояло на нем, грохнулся наземь. Из маленькой ранки на лбу сочилась кровь... Закрыв лицо руками, бедняжка судорожно всхлипывала, и по ее тонким, детским пальчикам, по ее рукам текли слезы... Пантух преобразился. Из любезного, слащавого человека он обратился в скота. Приторное выражение лица сменилось жестким, злым, упрямым...

— Сиди здесь и, пока ты не перестанешь сумашествовать, до тех пор никуда отсюда не выпустят. Твои ботинки, платье и шляпка заперты... Глупо бесноваться! Что с воза упало — то пропало! Старайся лучше, голубушка, заработать побольше денег, чтобы окупить то, что мы для тебя сделали. Любишь в шелку ходить, так и плати за это...

— Я люблю... я... Да когда же... Вы сами... ваша жена дала мне все на время... пока я выкуплю свое...

— Милая моя, не строй казанской сироты... Ты вчера подписала счет...

Улюшка вспомнила, что ей дали подписать бумагу, которую она даже не прочла... Она начала соображать... она наконец поняла, что липкая, вязкая паутина охватила ее, что она, как муха, попала в эти нити, спутавшие ее по рукам и ногам... Злоба, отчаяние, сознание обидного бессилия грызли ее. Оскорбленное достоинство девушки, стыд... поругание... омерзение к случившемуся... к нему... к самой себе, — как молотом ударяло ее пропавшую головку... Дико смотрела она на Пантуха. Тот иронически улыбался и, казалось, любовался страданиями жертвы...

— Низкие люди... без совести, без чести...

Пантух улыбался.

— Я не хочу быть здесь! Не хочу, не хочу, не хочу! Вы не имеете права силой держать меня!...

Улюша поднялась на ноги и сделала шаг к Пантуху. Тот

продолжал улыбаться.

— Я убью себя... я заморю себя голодом... я выброшусь в окно...

К ужасу своему, Улюша заметила, что окна в этой комнате никакого нет и она представляла из себя бомбоньерку.

Пантух улыбался.

— Что вы смеетесь?! Вы хуже убийцы... вы подлец! — Уля размахнулась и сильно ударила по щеке своего учителя.

Пантух побледнел. Молча подошел к Улюшке и хриплым от бешенства голосом сказал:

— Моли Бога, что мы из тебя еще можем извлечь пользу. А то я изуродовал бы твою физиономию так, что все отворачивались бы и плюнуть не захотели... Сиди, а то...

Закончив свою речь угрожающим жестом, Пантух вышел, и Улюша слышала, как с другой стороны двери щелкнул ключ...

Уля опустила на диван и только тут заметила, что она стояла почти голая перед мужчиной. Краска стыда разлилась по ней. Каленые иглы жгли ее щеки, грудь, спину... С содроганием она посмотрела на свою босую ногу... на нее смотрели?... к ней прикасались?... Стыдясь самой себя, она схватила скатерть и прикрыла свою наготу... Прикосновение холодного полотна несколько освежило ее... Затем наступило полное бессилие. Руки, ноги отказывались служить. Каждая косточка болела, каждый нерв ныл, точно его вытаскивали наружу и дергали щипцами... Не то сон, не то забывтье, не то дурнота охватили ее и ее головка бессильно опустилась на грудь; туловище откинулось назад, и она, беспомощная, одинокая, поруганная, точно труп, лежала на диване...

Так прошло около часа. Улюша почувствовала, что кто-то ей смачивает голову водой. Перед ней на коленях стояла незнакомая молодая, красивая женщина и участливо смотрела на нее... Она держала в руках стакан, смачивала темя, виски и дала выпить несколько глотков... Это была Стася...

— Ну что, барышня, легче?... Голубушка вы моя, успокойтесь, — ласково говорила она. — Видно, такая ваша судьба. Смиритесь. Выштыкоедно не вырваться вам отсюда. Тут вы запечатаны; коли смиритесь — и кормить вас станут хорошо, и одевать, и повеселитесь, — потанцуете под фортипьяно... У нас такой старичок есть, все знает — и польку, и вальс, и лянсье, и па-декатру...

Улюша плакала.

— Вот я тоже много горя натерпелась и так же, как вы, убивалась, а там привыкла и пошло... Милая вы моя, хорошая...

Стася не договорила и залилась слезами...

В душе этой падшей женщины не погас еще луч жалости, добра; но только она понимала все по-своему, по уродливому, исковеркованному.

— Ишь ведь, как дрожишь, оденься...

Стася взяла юбку, накидку вроде сорти-де-баль, и все это надела на Улиньку. Та, точно безвольная — давала себя одевать и ее плечики подергивались и ручки бессильно болтались.

— Кто вы? — наконец спросила она Стасю.

— Я? Эх, барышня!.. Кто я?.. Забубенная головушка! Вот кто я! Стаськой-головорезом меня прозвали. У Стаськи, говорят, души нет... Обобрать ли кого, запутать кого из мужчин, меня мадама в первую голову посылает. И знаешь, барышня, с полным восторгом я это делаю! Потому гады, разбойники, надсмешники все эти мужчины! Никакой жалости к нашей сестре не имеют... Им бы только надругаться над нами, и за людей нас не считают... А ласкать-то мне их, так словно червя дождевого в руки взять... Вот как омерзительно! А Стаська свое дело делает... потому погибшая, в некупном долгу у мадамы, и ничего она вокруг себя не видит... Да хоть бы и откупились? куда денешься? В прислуги не возьмут; в продавщицы — тоже, везде рекминистрацию надо иметь; ну вот, пока тело бело — и буду их грабить, мужчин-то; а там, как в ошметки обращусь, мадама выгонит, и помру, хорошо, коли в больнице, а то где-нибудь под забором...

Уля слушала и, точно челюсти ада открывались перед ней. Каждое слово этой заблудшей овцы открывало весь ужас, все безвыходное положение, в котором очутилась и она. Куда теперь идти? Куда примут ее? Кто откроет ей участливо дверь своего дома и смоет пятно, которым заклеямена... Неужели же через какой-нибудь год и она будет утешать какую-нибудь новую жертву и советовать ей примириться с положением и зажить так, как живут ее... подруги...

— Знаете, барышня, полюбила я вас! Давайте дружить будем... Может, Стаська и придумает что... На первое время покажите, что вы больше не мучаетесь, а как словно довольны положением, чтобы надзор за вами уменьшили, а там видно будет... У вас есть куда идти?

— Нет.

— Ни отца, ни матери нет? И родственников никаких?

— Нет.

— Эх вы, горемычная! — Стася схватила руку Улиньки и крепко, горячо поцеловала ее.

— Что вы! зачем?

— Вы чистая душа, хорошая, давайте, говорю, дружить... Стаська молодчина, придумает что... Ну я, пойду... а то еще хватятся... да и уходить отсель время, мы тут только до утра, а днем на своих квартирах...

Стася еще раз поцеловала Улиньку и вышла... Точно светлое видение, скрылась от Улиньки — Стася. Всей душой, всем сердцем потянуло ее к этому новому другу...

Глава X

ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ

Дни, ясные дни настали для Павлюка. Отец поправился, и вот они опять зажили вместе, но уже в теплой комнате. Приоделись и чаек пили, и кашу ели, и щи из свинки хлебали, и персидским порошком зверье посыпали,

да только не помогает. Одуреют подлые тараканы, а там и отойдут. Не берет их персидское зелье.

В конурке было чисто прибрано. Образок св. Сергия, казалось, еще ярче блестел своей серебряной ризой. У Павлюка была своя кровать, простая, белая, деревянная, а своя; матрац, старый, держанный, но приличный; изорванное одеяло заменилось ситцевым из кусков, новым. В деревянном простом рыночном шкафике стояла жестянка с сахаром, а рядом лежала плитка кирпичного чая. Тут же красовался большой жестяный чайник, заменявший самовар. Около печки стояло два горшка для варки пищи, две чашки, из которых ели, и в них деревянные ложки. В самом сокровенном углу стояла бутылка водки. Этого сокровенного угла даже старик не знал, а может, делал вид, что не знал, но только ему каждый раз доставал бутылку сын, наливал и прятал. «Отвернись, — скажет, — батько, я ее спрячу», — и старик отворачивался, а Павлюк прятал соблазн.

Полное довольство испытывали Завейко с сыном. Им не нужно было иной жизни: тепло, сытно, одеты, обуты, даже чай пьют — и все на заработанные деньги. Старик исполнял роль кухарки, готовил обед, убирал комнатку и делал все это с любовью и изумительным старанием. Пища и подгорала, и дымом пахла, и пересолена бывала, и недоварена, и переварена, а все казалась вкусной, такой вкусной, что и на званом обеде или на обеде богача — не могло быть такой, а уж аппетита, с каким старик с сыном уплетали свои блюда, там, конечно, и приблизительно не могло быть такого...

Холода отошли. Началась мокропогодица. Павлюк два и три раза в неделю путешествовал с господином ***. В одну из таких экскурсий шли они по Подолу у контрактов, по одной из прилегающих улиц. Внимание их было привлечено характерной фигурой: лихо заломивши картуз на затылок, с наполовину оторванным козырьком, в грязной рубахе, в грязных портах, сквозь которые кой-где виднелось тело, в опорке на левой ноге и с босой правой шел оборванец. Он был здорово дорболызнувши. На правой щеке виднелся огромный синяк, на левой довольно основательная

царапина. Волосам мог позавидовать лучший войлок, — так давно до них не касался гребень и даже пятерня. Выражение лица было неизмеримо весело. Он то и дело гордо закидывал голову, закатывал заплывшие от пьянства глаза, поводил плечами, притоптывал ногами, а руки его как-то бессильно болтались из стороны в сторону. Все это он проделывал молча, не обращая ни на кого внимания. Весь он ушел в самого себя и совершенно неожиданно попал в довольно глубокую выбоину, наполненную талым снегом и грязью.

— Вот оно — застряли! Стоп, значит! Гляди, Фентюк — обувь не растеряй, — заговорил он сам с собой и вдруг тонким фальцетом, к удивленно сохранившимся в его пьяной груди, запел:

Засвистали козаченьки,
Вставши с полуночи...

Около него собралась толпа мальчишек, с любопытством таращивших свои синие, черные, карие глазки...

Заплакала Марусенька
Свои ясны очи...

— продолжал оборванец, вывел высокую, надтреснутую ноту и закашлялся...

— Ишь ты, подлая, сорвалась... Не то время, а бывало... Эх! Такую голосистую засвечу... вва!!

Тут он только заметил собравшихся ребят.

— Вы чего бельма таращите?! Человека не видали? Брысь — пострелята! За вихры отдеру! Видали такую вещь? — он показал им дулю.

Пострелята пустились врассыпную и остановились от него на некотором расстоянии. Оборванец уставил мутные глаза на Павлюка и господина ***. Что-то буркнул, видимо, хотел выругаться, но громкая икота помешала ему.

— Расшибу! — крикнул он, замахнувшись, и шатнулся, точно его толкнул кто. Затем забыл о Павлюке и обратил-



Видали такую вещь?..

ся опять к ватаге ребят:

— Чего испугались? Не съем вас... подите сюда! Знаю, у вас ангельские душеньки, безгрешные... Подите, я вам песню спою.

Мальчишки приободрились и стали мало-помалу приближаться...

— Ну вот, слушайте!

Оборванец откашлялся в руку и запел разухабисто, выделывая ногами вензеля:

Соловей, соловей, тех, тех, тех!..

Канарэичка: тай-дри-та-тай!..

При последнем слове он выкинул такой замысловатый курбет ногой, что его единственная обувь — опорка, сделав по воздуху дугу, далеко отлетела в сторону и угодила одному из мальчишек в лоб. Тот завыл и, утирая кулаком слезы, побежал домой. Остальные весело засмеялись.

— Вот те, бабушка, и клюква! Подошвы растерял и лоб невинной душеньке раскровенил... Эх ты, Федюха, пропащая твоя голова! Что ты из себя сделал? До чего дошел? Стоишь посреде улицы, на посмешище народу, словно мордуханец какой! — он отчаянно махнул рукой и всхлипнул. На пьяных глазах сверкнула слеза. — Эх, миленькие, то ли раньше было? Выйдет, да не Федька, а Федор Калистратыч; на ногах сапожки, в подошве скрип подложен, на голове шапка сивая новая, рубаха петушком вышита... Диву народ давался, а теперь? Срамота! голь, шмоль и компания с сыном! То-то и есть...

Он опустил свою беспутную голову на грудь и Бог весть о чем задумался. Потом сильно встряхнул головою, выбрался из лужи и поплелся, напевая:

Вы мне выройте могилу
Против лучшего трактиру,
Гроб увейте виноградом,
Положите с милкой рядом...



*Соловей, соловей... тех, тех, тех...
Канарейчка — тай, дру-та-тай!..*

— Я его знаю, — сказал Павлюк. — Хороший мастер был, а теперь пропал. И помогали ему, и одевали, и запирали, все напрасно... Пропьется до креста и опять, как видите...

Павлюк и господин пошли дальше; к ним навстречу шел субъект, на которого опять нельзя было не обратить внимания: он был одет в пальто легкое и изорванное, как только возможно представить. Словом, изорванное так, чтоб только-только держаться на плечах. На ногах полотняные старые штаны и босые, красные ноги. Он прятал руки в рукава и весь трясся; его прямо била лихорадка. Лицо было одутловато и бледно — лет было не более двадцати пяти. Новый босяк быстро шел, тупо смотря в землю; вот он поравнялся с Павлюком и мелькнул мимо.

— Догоните его, — сказал господин *** Павлюку.

Павлюк окликнул босяка и подозвал его. Тот подошел и с удивлением смотрел и ждал, чего хотят от него.

— Отчего ты совершенно босой? — спросил ***.

— Я припадочный, работать не могу, купить не на что... Дня три как из больницы. Таков неумолимый закон судеб...

Господин *** и Павлюк разом поняли, что имеют дело с интеллигентом.

— Был биржевым зайцем, учился, гимназию кончил и два курса университета прошел и вот, опустился и не могу выбраться на дорогу... Родных никого, опустился и дошел до безобразия!..

— Но как возможно дойти до такого ужасного положения?..

— Очень просто. Неудачные биржевые операции; полное разорение; спустил, что было, а затем начались припадки вроде падучей. С квартиры переехал в комнату, из комнаты в угол, из угла в ночлежный дом, а там просто на улицу, там в больницу, и вот, видите... какой джентильом!

— Отчего, когда вы не опустились до такой степени, вы не нашли работы?

— Не гожусь! ни к какой работе не приспособлен, а главное, мои припадки... Раза два в день бьет — разве можно таким служить... Народ перепугаешь...

*** вынул два рубля и сказал:



В кабачке...

— Купите обувь...

Босяк взял два рубля и как будто не верил в то, что у него в руках такая сумма и затем, даже не поблагодарив, бросился бежать... Быстро бежал он, как от погони, и через минуту скрылся за углом... Пройдясь внутри контрактов и выйдя оттуда через час-полтора времени, Павлюк и господин ***, погуляв по базару тоже с час времени, снова прямо натолкнулись на того же босяка. Он был пьян и на ногах по-прежнему ничего не было. Господин *** подошел к нему и спросил:

— Что же вы? Где же обувь?

Босяк сначала сердито посмотрел, но, узнавши, сконфузился, замялся, снял с головы картуз и перебирал его в руках.

— Что же вы? — досадливо переспросил ***.

— Пропил, — отвечал босяк. В этом одном слове: пропил — сказала вся жизнь.

— Но вы говорили...

— Врал... Пропащий я человек... Все врал... Когда я научился... Маменька дома обучала...

— А припадки?

— Врал... Черт меня не возьмет... Простите...

Босяк быстро повернулся и, пошатываясь, удалился...

— Мне уже время, — обратился господин *** к Павлюку, — завтра и послезавтра я буду у вас и пойдем осмотреть ночлежный дом на Нижнем Валу, а сегодня... я что-то расстроился... да и время мне...

Они расстались. Был седьмой час вечера. Павлюк поднялся наверх к Крещатику и медленно шел, подвигаясь к Ф—ской улице. Пока он от Контрактового дома поднялся, пока шел по Крещатику, останавливаясь у окон магазинов, спустилась темнота вечера и ярко загорелись электрические фонари. Вдруг он увидел толпу народа. Большинство была молодежь. Среди толпы плакала и, повторяя: «Спасите ее», стояла молоденькая, хорошенькая девушка. Из отрывочных фраз Павлюк понял, что кого-то заманили, об-

манули, и что она просит вырвать ту, другую, из этих сетей, из этого ужасного дома, куда попала несчастная. Молодежь близко приняла к сердцу заявление девушки и толпой, человек в десять, направилась за ней. Павлюк шел за толпой. Кто-то из молодежи спросил:

— А как же вы-то попали туда? И почему такое участие принимаете в судьбе девушки?

— Я Стаська! меня нечего оттуда брать! Я отпетая, а там есть девушка хорошая, честная, Улей зовут... Ее надо вырвать! Ее опозорили, опоили... а потом опять опоили, и опять... подсыпят, ну и... перестала, бедная, есть и пить, умереть может с голоду... Спасать ее, бедную, Стаська вас просит! Что хотите для вас сделаю, только не дайте той погибнуть...

Толпа приблизилась к дому, где жили Пантух и Курилич... Они позвонили. Дверь отворилась и вся толпа вместе с Павлюком вошла в квартиру.

Навстречу вышел несколько встревоженный Пантух, но он еще не знал, в чем дело... Его только смутило разом появившееся количество людей...

— Что вам угодно, господа? — вкрадчиво-любезно спросил он вошедших.

Из толпы выделился высокого роста молодой человек и с сильным малорусским акцентом сказал:

— А вот узнаешь, бисово отродье, чего нам треба...

— Прежде всего, прошу деликатно выражаться! — возразил Пантух. — Что вам угодно?...

Толпа разом загалдела...

— Ничего не понимаю, — говорил Пантух. Он уже чуял, в чем дело.

— А вот в чем, — задорно начала Стаська, — ты заманил сюда хорошую паненку, чистую душку, и обманул ее, и опозорил, и запираешь, и мучишь...

— Молчи! — огрызнулся Пантух.

— Не замолчу! Не испугаешь! Хоть убей, не замолчу! Жива ли она, голубушка? Чего, чего смотришь? Чего, чего глаза таращишь? Чего, чего зыркаешь? Не боюсь, не боюсь, не боюсь!..

Пантух незаметно пятился из передней к двери, ведущей в комнаты; он, видимо, уже не слушал расходившуюся Стаську, а соображал, как поступить. Скандала он боялся и мозги его работали, как бы уладить дело...

— Вы, пан Пантух, время не затягивайте, — начал снова высокий молодой человек, приближаясь к Пантуху. — У вас тут силой держится дивчина и если ты нам сейчас ее не выдашь, не выпустишь из своего гнезда поганого, так мы из тебя и дров, и лучины наколем...

В толпе слышались одобрительные восклицания. Павлюк был впереди и внимательно следил за ходом событий. Пантух неожиданно юркнул за дверь, ведущую в комнаты, и захлопнул ее, но не успел запереть. Павлюк схватил за ручку, другие подоспели, дернули и Пантух должен был выпустить дверь из рук. Он был бледен. Губы побелели и тряслись...

— Вы силой хотите — хорошо же...

— Берегитесь, берегитесь, убьет, — затараторила Стася. — У него и кинжал есть, и пистолет. Вы его хватайте и вяжите...

Не успела она договорить, как Пантух шмыгнул в дверь, бегом промахнул комнату и, прежде чем толпа нагнала его, спрятался в соседней комнате и все слышали, как щелкнул замок двери.

Оттуда доносился его голос:

— Идите вон, скандалисты, а то я за полицией пошлю!

Стаська опять вступилась:

— Врет, брешет, поганая душа! Не смеет! Он боится полиции, как огня! Да узнай, так его бы туда упрятали. Только вы поторопитесь, а то он ее грязным ходом спровадит.

Пантух действительно отдавал приказание госпоже Курилич, чтобы та как-нибудь спровадила Улиньку...

Четверо из толпы отделились и, предводительствуемые Стаськой, бросились через парадное крыльцо, по лестнице вниз, под ворота и на черный ход. Отступление было отрезано.

Г-жа Курилич с визгом бросилась к Пантуху объявить, что и с другой стороны народ, и что Стаська впереди, угро-

жает ей зонтиком...

Пантух озверел. Он уже забыл и о скандале, его душила злоба. Он кинулся в свою комнату, схватил кинжал и ждал нападения.

Глава XI

ГЕРОИНЯ

Толпа бросилась во внутренние комнаты и, побуждаемая самыми благородными чувствами освободить девушку, начала напирать на дверь, желая выломать ее; но ей этого сделать не пришлось; дверь отворилась без их усилий и перед ними предстал Пантух с побледневшим от злобы лицом, с кинжалом в руке. Он бросился в толпу и, не помня себя, в исступлении махал оружием направо и налево.

От этого неожиданного нападения присутствующие бросились врассыпную, избегая ударов Пантуха. Все кинулись к двери, но Павлюк улучил момент и бросился далее по коридору. Там он остановился, не зная, куда идти. Направо и налево были двери и было темно; но вот в конце мелькнул свет и раздались чьи-то голоса. Он бросился туда. Там, на полу, в обмороке лежала молодая девушка. На ней, сцепившись друг другу в волосы и неистово теребя друг друга, боролись две женщины, Стаська и Курилич. Стаська брала верх; она двумя руками пригибала к земле Курилич, изредка отрывая то одну руку, то другую и, не отпуская одной волосы Курилич, другой толкала кулаками ей в лицо, а иногда прогуливалась по нему ногтями. Курилич только кряхтела и уже выпустила космы Стаськи и заботилась об одном: освободить свои волосы и оградить лицо от когтей и кулаков врага.

— Вот тебе, кровопийца, вот тебе за всех нас! Помни Стаську! Стасика подлец, а честная душа! Стаська оберет гостей, а подлости не сделает! Стаська по улицам гулять будет, от вашего шелку да батисту уйдет, а не даст неповин-



Там в обмороке лежала молодая девушка.

ной душе сгинуть! Вот тебе! Вот тебе! аспид! крокодил бес-
совестный! Песья кровь! Гадюка! Берите барышню-то, вы-
носите!

Павлюк бросился к лежащей в обмороке. С помощью
других, накинув подвернувшийся платок на голову и плечи,
он вынес ее на двор. От свежего воздуха Уля вздохнула, от-
крыла глаза и, ничего не понимая, смотрела вокруг себя.
Через минуту сверху сбежала и Стаська, она победоносно
держала в руке клочок собственных волос Курилич и ее при-
вязную косу.

— Долго будет она меня помнить! Пусть знает, что у ме-
ня душа человечья! — кричала еще неугомонившаяся Ста-
ська. Затем она быстро подошла к Улюшке, поцеловала ей
руки и залилась слезами.

— Паненочка, птичка Божья, вырвала я тебя из погипе-
ли поганой! Куда ты только теперь пойдешь? Где головку
свою преклонишь?

— К нам пойдет! — решительно сказал Павлюк. — Мы сами голь, а ей приют дадим...

Стася в порыве восторга обняла Павлюка и поцеловала.

— Пригрей ее, она душка хорошая и деться ей некуда! А уж я зайду понаведаться.

Павлюк сказал адрес и, сопровождаемый толпой, усадил Улю на извозчика и поехал к своей хибарке.

Все разошлись, и только Стаська осталась одна посреди двора. По ее набеленному и нарумяненному лицу текли слезы и счастья, и горя вместе. Она была очень, очень счастлива тем, что вырвала барышню из их вертепа и вместе с тем плакала и о себе. Куда ей идти? Куда деться? К Курилич идти нельзя. Пантух убьет ее и уж наверное изувечит.

Выйти на улицу в том виде, в каком она была сейчас, немислимо. Голова была всклокочена, лиф изорван, под глазом синяк; в таком виде ее немедленно забрали бы в полицию... Что же делать? Как быть? Собственного ничего, все, начиная от рубахи до чулок и ботинок, хозяйское, денег ни алтына, угла своего тоже нет... Подруги? Но как добраться к ним, да и примут ли? А что ж? В полицию, так в полицию! Сама пойду, все расскажу, пусть пропадают свиных головы! Настасья задумалась. Так поступать нельзя, ей все-таки хозяйка давала хлеб, давала жить, наконец, сколько их кормилось при ней, а арестуют ее, засудят... Нет, это нечестно, этого она делать не должна... У Стаськи происходила сильная внутренняя борьба...

Жалкую фигуру она представляла среди опустевшего двора. Мороз пронизывал ее и Стася, ежась от холода, села на брошенный кем-то пустой ящик. Положив локти рук на колени, она подперла кулачками свою, хотя и изношенную, и набеленную, и нарумяненную, но симпатичную мордочку. В этот горестный, но и светлый миг в ее жизни воспоминания о прошлом заполонили ее головку. Стася вспоминала и родную деревню, и отца с матерью; и то, как она девочкой босая бегала по деревенским лужам, и особенное удовольствие доставляло шлепать по ним; как бегала в лес за грибами и ягодами и как однажды на нее напал волк и

она, как белка, взобралась на дерево и отсиделась от него. Как с такими же, как она, товарками — стаей они пойдут купаться в речонку, и стоял кругом веселый смех и крик от брызг, которыми обдавали друг друга шалуньи. Вспомнила она пеструху-корову и вороного коня, которого называли Рябчиком, и хохлатку курицу с многими цыплятами и много, много разной другой старинки вспоминалось ей...

Потом мать отдала ее четырнадцатилетней девчонкой во служение и вот тут жизнь приняла другой оборот. Также, как милую паненку, ее привезла Хрящиха к Пантуху. И вот три года, да, уже три года, как она... ведь бедной Стасе уже семнадцать лет...

Семнадцать лет — ребяческие годы, а уже тело ее изношено, душа старше тела, и мадама считала ее за самую бедовую, за самую юркую из всех ее жертв. Стася плакала и слезинки, чистые слезинки падшей девушки текли по щекам, мешались с белилами и румянами и мутной струйкой, мутной, как ее жизнь, текли дальше по белым изнеженным рукам и, срываясь, капали на снег и пропадали. Пропадали, как пропадают десятки тысяч людей, животных, птиц в мировом движении, в борьбе за существование, за право жить: истреби меня или я истреблю тебя! И вот горячие слезки истреблены холодным, суровым снегом и канули в вечность, как канет сама жизнь беспутной, бездомной Стаськи. Ни души не будет плакать над ее одинокой могилкой... И разве только в синеве небес прошебечет ей надгробную песенку залетная гостья погоста или соловей в майскую, чудную украинскую ночь пропоет ей свою песню любви и страсти, которой не знала при жизни Стася, которая подвергалась только позорным продажным объятиям, и в ее младенческой душе они пробуждали только злобу и омерзение, и эта песнь неги, песнь любви проникнет сквозь сырую мать-кормилицу землю и в первый раз затрепещет ее мертвое тельце, дрогнет сердечко, а затем... закопошатся черви и пропало все в пространстве бесконечном...

.

Холод становился нестерпим, голова трещала, все суставы болели и Стасе казалось, что она лишается сил... С усилием она встала на дрожащие ноги и быстро, почти бегом, направилась на улицу. В воротах ее схватил сквозной, резкий ветер и подхватывал ее волосы, юбки и платье... Очутьившись на тротуаре, она несколько мгновений не знала, что предпринять... Прохожие обращали на нее внимания и многие, принимая ее за пьяную, возмущались позорным видом женщины...

Стася чувствовала, понимала эти взгляды и в первый раз в жизни в ней проснулось самосознание, что она лучше многих этих, смотрящих на нее, как на гадину: она знавала в себе если не женщину в высоком, прекрасном значении слова, то знавала в себе человека... Крепко стиснув зубы, до боли в скулах, она едва удержалась, чтобы не крикнуть этому волчьему стаду: «Я зеркало ваших пороков! Вы, вы бросили меня в объятия разврата! Вы, вы исковеркали мою жизнь, тело, ум, жизнь...»

Злорадство охватывало Стасю и она со сверкнувшею злобою в ее красивых, незлобивых обыкновенно глазах, показала прохожим язык и выругалась, а затем крикнула: «Городовой!» Страж общественного спокойствия подошел. «Отправь меня в полицию, есть дело приставу сказать, ну, живо!» Городовой, видя ее взволнованный вид и растерзанную одежду, посадил <ее> на извозчика и повез...

Злобное чувство, до дикого экстаза, все больше и больше проникало в существо бедной девушки; с каким-то внутренним самобичеванием и вызовом толпе она размахивала руками, бранилась, делала гримасы и потом, с полными глазами слез и рыданиями в горле, запела:

Эх, да не одна во поле дороженька!

.

Привели Стасю в полицию, предстала она перед приставом. Возбуждение прошло и она, скромно потупившись,

стояла и не знала, что сказать. Нервы упали, ноги подгибались, руки болтались плетьюми и даже шея не выдерживала тяжести головы. Вся фигура Стаси была опустившаяся, всю ее тянуло к земле.

Пристав ждал. Стася молчала.

— Что вам нужно? Что вы хотите сообщить? — спросили ее довольно любезно.

— Мне? — переспросила Стася,

— Кроме вас, здесь никого нет и, несомненно, мой вопрос относится к вам. Тем более, что вы сообщили городовому бляха ***, что вы желаете что-то важное передать мне.

— Да... господин пристав... да... я хочу сообщить... Дело в том, что я... Вы, конечно, видите по мне, по моему виду, кто я... Так вот, я ушла... я наскандалила... Мне некуда деться... Я круглая сирота... Надеть, как изволите заметить, нечего... Вытребуйте мой паспорт у госпожи Курилич и Пантуха.

Пристав внимательно слушал и при фамилии Курилич и Пантуха насторожился. Эта парочка была у него на подозрении, но не было доказательств, а теперь улика налицо. Он подробно выспросил Стасю, попросил сесть и немедля послал к Пантуху, чтобы тот прислал верхнее платье, шляпу и паспорт Стаси.

О приключении с Улей она молчала, она не хотела подвергать ответственности своих хозяев, не хотела оставлять без пристанища товаров.

— Сколько вам лет? — спросил пристав.

— Семнадцать, — отвечала Стася.

— Скажите, чем занимаются господин Пантух и г-жа Курилич?

Стася потупилась и отвечала:

— Не знаю...

— Что вы там делали? — не унимался пристав.

Стася молчала.

— Как вы туда попали?

Стася продолжала молчать.

— Не бойтесь! Я из участия спрашиваю вас.

Стася потупила глаза и наконец тихо, едва слышно, отвечала:

— Меня туда привели...

— Кто?

— Госпожа по прозванию Хрящиха.

Пристав записал прозвище.

— Как там с вами поступали? Для чего туда привели?

Отвечайте...

— Господин пристав — вы сами знаете...

— Значит, вам было четырнадцать лет... Что же вы, доброй волей?..

— Ой, что вы! Опоили, обошли, вот и сегодня там отбили девочку невинную...

Стася вспомнила, что нельзя выдавать тайну, но было уже поздно...

Пристав ухватился за нить и ловко выпытал у Стаси, что было ему необходимо. Затем спросил Стасю:

— Вы что же, желаете вырваться оттуда? Бросить эту жизнь?

— О нет... я только куда-нибудь в другое место... Я рада, что барышню вырвала.

Стася решилась и рассказала все, как было. Пристав слушал и пожелал сейчас же дать делу ход.

— Куда увезли барышню?

Стася ответила.

В это время принесли верхнюю кофточку, заменяющую теплое пальто, и шляпу. Пристав участливо глядел на Стасю, и, подумав, вынув три рубля и дал ей, говоря:

— Это вам на ночлег и на первые расходы...

Затем вышел для того, чтобы подтянуть на цугундер чету Пантуха с Курилич.

Стася, ободренная ласковым обращением, несколько времени стояла молча, потом спросила помощника пристава, может ли она идти.

Пристав любезно ответил, что она свободна.

Стася вышла и направилась к Керпелю. Она не желала сама бросить жизнь, ведомую ей. У ней ни впереди, ни по-

зади нет никого... Барышню она спасла, а сама опять за
прежнее.

Только повидеться ей очень хотелось с Улей. И опять за-
работала головка Стаси:

«А хорошо ли? Та барышня, хорошая, а она... Пожалуй,
еще не пустят... Отвернется она от меня... Нет, быть того не
может. Повидаюсь! А если и прогонит — все-таки пови-
даюсь! Погляжу на нее...»

Стасю какое-то необыкновенно теплое чувство согрева-
ло к Улюше... Точно та была ей самой близкой, дорогой род-
ней... В душе и сердце Стаси до сих пор никаких привя-
занностей не было. Мать умерла, отец тоже. К мужчинам и
ее молодое тело, и ее внутренний мир чувствовали только
гадливость и злобу. К Курилич и Пантуху в ее душе тлела
ненависть, она понимала, что вся жизнь ее изломана ими
и ненавистной ей хозяйкой; и вот на пути встретилось ей
существо чистое, порядочное, очутилось в несчастье и в по-
ложении ей подобном. Тут-то, не зная привязанности ни к
кому — она привязалась к Улюше всем своим сердцем и го-
това была для нее на все! Спасение Ули — было очищение
Стаси, очищение в ее мирке, в ее умовоззрении...

Жизнь казалась ей и краше, и казалось, что теперь есть
для кого жить. Стася твердо решила все деньжонки, кото-
рые появятся у нее, отсылать милой барышне и посылать
так, чтобы та не знала, от кого, а то, чего доброго, взять не
захочет *ее денег*.

.

Одновременно с этим добрым чувством в ней копо-
шилось другое. Она измышляла способ добычи денег и на
первом плане у нее были мужчины, которых она решила
обирать, как только ей позволят ее трехлетний опыт и спо-
собности. Имея по природе мягкую душу, честное, доброе
сердце, готовое искренне любить и привязаться, Стася тем
не менее была способна придушить кого-либо из ненавист-
ных ей с таким чувством, как человек убивает комара, зло-

вредное насекомое, змею, волка... Обстановка, в которой она провела три года жизни, — жизни, которая была ей и ее воспитанием, и ее житейской школой, — наложила свой отпечаток и развила особый склад мыслей и воззрений на жизнь. Шестнадцати лет она была беременна, не зная от кого; пробыла все это время у Пантуха и твердо решила или подкинуть ребенка, или прикончить с ним; но, к счастью, ребенок родился мертвым. В мечтах же своих, в своих инстинктах доброй крестьянской семьи, в ней мелькало желание быть матерью, кормить, ухаживать за будущим человеком, но только не тут, не в этом гнезде растления души и тела. Самые диаметрально противоположные чувства жили в ней, и под известным влиянием Стася могла быть и самой жестокой убийцей, и самым честным, порядочным членом общества...

.

Стася приближалась к месту жительства Керпеля. Тревога, что ее не примут в число избранных, все более и более охватывала ее, но вот и дом, вот и подъезд, вот и звонок около двери с маленьким отверстием в верхней ее части... Стася позвонила.

Глава XII

НОВАЯ ЖИЗНЬ

— Куда вы меня везете? — обратилась Улюшка к Павлюку.

— К нам, в нашу хату; вы, барышня, не бойтесь, мы с батькой в обиду вас не дадим. Пока что поживите у нас, а там видно будет.

Обращение, наружность, звук голоса Павлюка так разнились от тех, других мужчин, что Уля не боялась его и

чувствовала в нем только симпатизирующего ей человека, желающего помочь.

— Только у нас бедно, одна комнатка. Мы вас за занавеской поместим.

Уля слушала молча. Она до того измучилась и истрадалась за это время, что слова не сходили с ее губ и несмотря на все ужасное, случившееся с ней, она была счастлива, чувствуя себя на свободе, не видя над собой гробовой крышки.

Только подъезжая почти к хатке, где жил Павлюк, она после первого вопроса спросила еще:

— А где Стася?

Павлюк догадался, о ком идет речь, но ничего положительного ответить не мог. Он только объяснил Уле, что дал адрес и что Стася обещала быть у них.

— Вы не бойтесь за нее. Она себя в обиду не даст. Как она вас отвоевала, а уже сама за себя постоит...

Сани остановились у хатки — где указал Павлюк. Расплатившись с извозчиком, он повел Улюшку к себе. Отец был дома и очень поразился появлением Павлюка с женщиной, но когда узнал, в чем дело, поцеловал сына в голову и сказал:

— Молодчина, сынку, в меня весь!

Затем они оба стали оказывать внимание Уле. Старик уступил свою кровать, порешив до поры до времени спать вместе с сыном, затем заварили чай, купили ситного хлеба и поили Улюшку и смотрели ей в глаза, как малому ребенку.

Она безусловно доверилась и в свою очередь безусловно исполняла все, что они предлагали, как бы боясь огорчить их отказом.

Странное сочетание было это — богатый наряд Ули, ее шелковое фаевое темно-зеленое платье, лиф, покрытый газом и серебряной блестящей мишурой, туфельки с французскими каблуками на ногах, шелковые чулки и убогая обстановка конуры Завейко.

Этот убогий угол, эти грязные покосившиеся стены, потолок, грубая кровать, табуреты, полная картина бедности

— все это несказанно мило было Уле. О костюме своем она первая заговорила и просила придумать что-либо — только бы снять с себя этот позорный блеск, это шелковое тряпье, которое жгло ее тело.

Общим советом порешили так: позвать торговку старьем, чтобы она купила у Ули ее наряд и взамен этого принесла ей что-либо другое. Так и сделали. Платье продали довольно выгодно и Уля переделалась из блестящего наряда коротки в скромный наряд не то мещанки, не то портнихи средней руки...

Отец и сын окружили ее попечениями и удобствами, какими только они могли обладать в своей обстановке, в своем образе жизни. Уля это чувствовала и с полной охотой делала все, что могла, и старалась придать жилищу приветливый вид опрятностью и чистотой. Она даже стала на другой день помогать варить пищу; но только помогала пере-солить, переваривать, передерживать. Улю ждала день на день работа. Торговка, купившая у нее платье, обещала достать ей несколько скроенных юбок, которые Уля должна была сшить. И если исполнено будет удовлетворительно, то и вперед будет доставляться по мере надобности. Так потекла жизнь Ули однообразно. И эта уже обстановка втянула ее и пока никоим образом ей невозможно было добыть какого-либо места. Ее внешний вид, ее местожительство, все мешало ей и лишало возможности пойти куда-либо для приискание подходящего ей труда. Улюшке уже начало казаться, что эта жизнь ее назначение, что она всем обязана Завейко и ее существование должно принадлежать им.

Как-то недели полторы к Павлюку не приходил господин ***, деньги иссякли и Завейко стали испытывать нужду. Морозы стояли крепкие, а дровишки вышли, да и для готовки обеда не было ничего. Павлюк ушел куда-то и дома остались Уля и старик Завейко. Уля что-то шила, а старик возился у печки и старался добить огня.

— Ну что, растопили? — спросила его Улюша.

Завейко не разом ответил, а прежде буркнул себе что-то под нос... Уля переспросила его...

— Хоть тресни, ничего не выходит, — отвечал старик. — Последний мусор собрал... вспыхнул сначала, точно порох, а теперь и тлеет без толку. Волков морозить впору. Руки, словно клюшки. Э-эх, хорошо бы теперь внутренность согреть... Павлюк нейдет... Оболтус, на словах только храбрый, а на деле... слюнтяй! Лентяй первеющий! Никуда не пригоден!

— И для чего вы это все говорите? — перебила Уля старика. — Ведь послушай вас кто-нибудь посторонний и впрямь подумает, что Павлюк и лентяй, и что не любите-то его...

— И ненавижу! — оборвал старик.

— Не сердце ваше теперь говорит, а холод и... и... — Улюша не договорила фразы.

— Что заикнулась? Договаривай, за правду не рассержусь, а коли напрасно обидишь, встряску... Ну-с — холод и...

— Любовь к вину. И любовь эта погубит вас.

— Ладно, болтай... начитывай мораль... плевать я на мораль-то твою хочу...

— Савва Кириллович, я от сердца, я душой люблю и вас, и Павлюка. Я прямо скажу: нехорошо, грешно...

— «Нехорошо, грешно»... Что ты, новость, что ли, говоришь... Без тебя я знаю. А что поделывать-то? что? Если вот тут, в сердце точит, да не неделю, не месяц, не год, а го-ды! В таком состоянии не то, что... Эх, Улюша, моралистка ты, так ей и останешься. И откуда это у тебя мудрость берется? А у меня ее нет, понимаешь, нет, и взять негде. Тряпка я стал, характеру на полушку нет. Легко, ты думаешь, мне видеть Павлюка? Придет — лица на нем нет: бледный, глаза блестят, из груди не то кашель, не то стон рвется и каждый стон его мне душу вертит, совесть выворачивает. Потому знаю — виноват, без вины, а виноват... И подступает тут злоба, бессильная, мучительная злоба и срываешь ее на нем же. Он голубь, чистый голубь, неповинный человек, а бы-вают минуты, ненавижу я его и вместе с тем люблю, как душу!.. Что смотришь? Думаешь, сумасшедший? Это верно... Свихнул маленько. Так вот этот-то сумбур и заливаешь зельем-то, чтобы в забвенье придти... Сперва тянуть его горе заставило, а там в потребность обратилось...



Потому знаю — виноват, без вины, а виноват...

— Если для вас это необходимо, если себя не можете удержать, так сына не губите, он бросил, а вот теперь опять стал...

— Ты, Уля, помни пословицу: чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу. Так-то... Скажи лучше, скоро кончишь платышко?

— Последнюю пуговицу пришиваю.

— Ну и ладно. Истопить бы; да по дороге пойдешь, захвати самую маленькую хрустальную посудинку отечественного бальзаму. Уля, дорогая моя, благодетельствуй старика, не откажи... Понимаешь, сосет, мучит, нутро жжет... веришь — слюной изойти могу. Старик сплюнул.

— Куплю дровец, поесть чего... а там, если останется...

— Голубь сизый, ты мне есть не покупай. Я есть не хочу; ты мне водочки. Век услуги не забуду... понимаешь, тянет... Да не понять тебе этой муки! Улюша — я тебя пригрел, приютил, как дочь родную полюбил, — не откажи... Уля, видишь, на колени становлюсь пред тобой... купишь?

Уля бросилась подымать старика и обещала купить.

Завейко весь просиял. Глаза даже заблестели.

В это время раздался стук в дверь. Уля пошла отворить.

Вошла старуха-хозяйка. Это была женщина лет под пятьдесят, лицо ее походило на печеное яблоко и по количеству морщин и по коричневому цвету. Одета она была в малорусскую рубаху, обыкновенную юбку и в передник, вышитый крестиками. На голове был платок, завязанный ослиными ушами. Она старалась быть очень сердитой, но тем не менее, от лица светилось добротой. Ее морщины, точно лучи сияния, разлились по лицу и вся она сияла добротой.

— Это вы, Митровна, а я думала, Павлюк, — кланяясь ей и подавая руку, сказала Уля.

Старик Завейко — увидев хозяйку — сел сердито на кровать и отвернулся, буркнув:

— Принесло...

Надтреснутым, но довольно резким, однотонным голосом, — голосом, способным надоест — начала Митровна разговор:

— Не ждали! В удивленья пришли?



Это была женщина лет под пятьдесят, лицо ее походило на печеное яблоко.

Уля попросила ее сесть.

Не слушая, Митровна продолжала:

— Ишь, дыму-то напустили, все глаза выест! — Она круто повернулась к старику. Ты чего за Улькой не смотришь? Печки-то истопить не может. Приструнь ее. Да что ты молчишь-то, в чурбана обратился?

Завейко молчал. Митровна подошла и пхнула его в плечо.

— Тебе говорят, что ли? Я не собака, мне нечего на ветер лаять...

Завейко, мрачно насупясь, сквозь зубы произнес:

— Уйди, уйди...

Митровна обиделась и еще назойливей лезла к старику:

— Как уйди? Ловко — гнать! Да как ты смеешь... я за своими кровными деньгами пришла. Подавай за квартиру деньги. Не хочу больше ждать — полно! Целый флигель занимаешь — арликистрат какой!

— Уйди, говорю, лучше будет, — огрызнулся Завейко.

— Еще запугивать. Да что у меня, даровая квартира, что ли! Да я сама нищенствую.

Уля просила Митровну успокоиться.

— Ты молчи, с тобой не говорят! — крикнула старуха на Улю. — Всяк сверчок знай свой шесток. Туда же, в разговор лезет. В последний раз я тебе говорю, подай за флигель деньги. Иначе в полицию пойду, — у меня только и есть хибарка, жильцов пустила, на поди, не платят!

— Ты, Митровна, меня не тревожь, — денег у меня нету! — ответил ей наконец старик.

— Денег нет?! Денег нет?! — старуха кинулась к Уле. — А ты что — дармоедка, на шею навязалась!

Завейко вдруг вскочил, быстро, насколько позволяли ноги, подошел к старухе, схватил ее за руку и грозно крикнул:

— Молчи! На меня лай, а ее не трогай! Язык вырву!

Митровна вначале осела, но потом оправилась и нададала жару:

— Ба-а-тюшки, да что же это такое?! Хозяйку-то, свою собственную хозяйку, бить хотят...

Завейко махнул рукой и отошел.

Уля успокаивала Митровну и обещала, как только получит за работу, отдать все деньги ей.

Митровна смолкла. Затем, понизив тон и смотря куда-то в угол, отвечала Уле:

— Врешь, — а есть-то что будете, а топить чем? Я ведь не дам. На меня не рассчитывайте. Ты мне, старый, деньги отдай, завтра же отдай... не то в полицию...

Припугнув еще раз полицией, Митровна направилась к выходу, но сейчас же вернулась обратно и обратилась к Уле:

— Что свечку не зажигаешь — ослепнуть хочешь? Нешто можно в темной шить? Ах — ковырлялы!

Митровна вынула из кармана огарок свечи и дала Уле. Та поблагодарила и не брала.

— Да что ж это такое! — вскипела опять Митровна. — Всякая мелочь разговаривает! Говорят, зажигай, так зажигай!

Она взяла и вправила свечу в жестяной подсвечник. Затем медленно, насупись, стала против Завейко и несколько мгновений смотрела молча. Затем отплюнулась и опять начала ругню.

— А с тобой я справлюсь — будешь ты своей собственной хозяйке грубить...

Митровна опять пошла к выходу и опять вернулась:

— Ели ли что-нибудь, идолы?! Небось, нет... — Она вынула из завернутого фартука кусок пирога... — Натее... для себя ведь приготовила... изо рта вырывают...

Она положила краюху пирога на стол и, идя к двери, ворчливым то ном говорила:

— Дровишек нет... пришлю...

В голосе у нее зазвучали слезы.

— Эх вы, бесталанные! — сказала она, махнув рукой, и вышла.

— Добрая она душа, — сказала Уля. — Накричит, нашумит, а последним делится.

— Надоела она, вот что, — отвечал Завейко. — Ступай, Уля, отнеси, надо ей заткнуть глотку, а выпивки не надо...

Уля завязала работу в платочек и, сказав, что сейчас вернется, вышла...

Оставшись один, Завейко отломил кусок пирога, поднес ко рту и положил его обратно. Он не мог есть. Его душа горела от жажды. Ему только хотелось пить, пить и пить...

Отворилась дверь. На пороге показался Павлюк. Он едва держался на ногах:

— Батько, дурно мне, едва домой дотащился.

Павлюк грохнулся бы на землю, если б старик не подхватил его. Павлюка отец уложил в постель и кинулся за доктором, как в тот день, когда его чуть не убили. В дверях ему встретилась Митровна. Она бросила на пол охапку дров.

— Митровна, побудь здесь, — обратился к ней Завейко,

— я к доктору побегу.

Митровна быстро полезла в карман и сунула Завейко в руку серебряный рубль.

Завейко поцеловал ей руку и вышел.

Как только старик ушел, Митровна намочила тряпку в воде и положила на голову Павлюку.

— Спасибо, — тихо, болезненно произнес Павлюк.

— Не за чем, и я помирать стану, небось, поможешь. Вы хоть обирали, а все с душой... Да что стряслось?

— Так... пустяки... закружилась...

— А деньги принес?

— Простите, нет...

— Ну ладно, ладно... лежи, лежи... А Улька-то пошла и пропала. Ну, народец! И мне-то некогда! Собаку еще не кормила.

Митровна взяла дрова, положила в печь и затопила.

— Вот так-то лучше... потеплеет... согреешься и отойдешь...

Митровна возилась у печки, напевая под нос:

Под вечер осенью ненастной,
В пустынных дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.

Вернулась Уля.

— Слава же тетереву, пришла! Павлюк-то вон... лежит... ты сиди с ним, а мне время.

Митровна ушла.

Уля тихо подошла к Павлюку.

— Сядь около! — сказал Павлюк.

Уля села.

— Что с тобой?

— Сядь около все и пройдет.

— Павлюк, не говори много, вредно...

Павлюк взял ее руку своей бледной, худой рукой и тихо, со слезами на глазах сказал:

— Если б вы знали, как я люблю вас...

Это было его первое объяснение в его жизни.

Уля вздрогнула, овладела собой и опять просила его не волноваться.

— Ничего, ничего... теперь мне хорошо... Уля, скажите, чувствуете ли вы ко мне хоть что-нибудь... Я спрашиваю и сам знаю, что спрашиваю глупость. Разве можно любить этого живого мертвеца! Сознаю, а все спрашиваю: дурак думкой богатеет. Я спрашивать буду, а вы молчите, не говорите нет, а я буду думать — да... Ах, как хорошо так думать!

— Павлюк, зачем же мне молчать? Зачем не отвечать? Я тоже люблю вас. Я так же несчастна, как и вы, горе-то и свело нас...

— Нет, ты не можешь любить меня... ты хорошенькая... а я... Нет, счастья такого не придет... У тебя была мать, она любила, ласкала тебя, а я не знал ласки матери... я полюбил тебя...

Павлюк вдруг сильно закашлялся.

— Да не волнуйтесь же! Лежите спокойно. Поправитесь, приметесь за работу и мы заживем припеваючи.

— Эх, Улюшка! Да разве такое полумертвое существо, как я, может работать... Разве мне под силу таскать кули, колоть дрова... Ведь я умру под первым кулем, который взвзлят мне на спину.

— Зачем такую трудную работу? У тебя есть голова...

В конце разговора вошел старик и слушал сына. Павлюк нервно засмеялся и, указывая на отца, сказал:

— Зачем таскать?! Спроси его! Он виноват в этом!

Это был первый упрек, брошенный сыном отцу. Упрек страшный, жестокий.

Завейко весь вздрогнул, вытянулся. На его лице заиграл давно не показывающийся румянец; глаза сверкнули и он крикнул:

— Стой, сынку! Виноват я перед тобой, это верно, но не так уж, чтобы сердце на меня иметь можно было... Горе у меня было. Горя ты этого не ведаешь, ни разу не говорил я о нем, а теперь слушай... Был я молод, здоров, радужные надежды витали в голове моей. Полюбил я девушку красоты необыкновенной — женился на ней. Радость, дыханье,

вера — все была она для меня. Прошел год — подарила она мне тебя, ты подрост, а она ушла от меня... характером не сошлись. Остались мы с тобой сиротами. Любил я тебя, но и ее любил... запил! Сперва запил, чтоб горе залить, а там в потребность обратилось. Учить я тебя не мог, средств не было. Чему мог сам вразумить — вразумил. А время шло: ты рос, да хирел, я мучился и за тебя, и за себя, и за... Охватит меня горе, а все же, прежде чем винищем нализаться, домой забегу, накормлю тебя, а потом пить до бесчувствия, до забвенья! Сынку милый, пожалей, не вини меня... За страдания мои пожалей!

Все тело Завейко вздрагивало и он плакал.

Павлюк приподнялся своим исхудалым телом на кровати.

Невыразимой любовью загорелись его глаза.

— Батько, виноват... прости... люблю тебя...

Дыхание у него пресекалось и он без чувств упал на постель...

Послышалась возня за дверью. Это был доктор и Митровна его торопила:

— Ну, ну — не прохлаждайся, господин дохтур, пошевеливайся!

Глава XIII

МАТЬ И СЫН

После признание отца, первый раз в жизни в голову Павлюка запала мысль во чтобы то ни стало повидать свою мать. Он чуял, что жить ему осталось немного и хотел увидеть хоть раз, хоть на минуту, родившую его. Он спросил у отца, как имя матери, и, едва только окреп, направился в адресный стол и там добыл адрес. Днем не хотелось ему идти и конфузить своим видом мать, и порешил он отправиться к ней вечером. Чем ближе он подходил к дому, тем необъяснимая робость все более и более охватывала его.

Для возбуждения он купил полубутылку водки. Спирт придал ему смелости и Павлюк решительно направился к заветному дому. Мать его жила в богатом особняке. Павлюк подошел к двери, позвонил и с замиранием сердца ждал момента, когда распахнется она, и он переступит порог, отделяющий его от матери. Прошло с минуту времени, показавшейся ему часом, дверь отпер лакей и спросил, что ему угодно. Павлюк назвал имя и фамилию. Лакей оглядел его и заявил, что теперь не время для приема таких посетителей, как он, а чтобы он пришел утром и по черному ходу. Павлюк настаивал и лакей уже хотел захлопнуть перед носом его половинку двери, как вдруг на Павлюка нашла отчаянная смелость, он рванул ручку, оттолкнул лакея и вбежал в переднюю. Слуга бросился за ним, и там, при помощи другого лакея, его хотели вытолкать вон и отправить в полицию. Павлюк упрямо сопротивлялся. Дверь, ведущая в комнату, растворилась и в переднюю вошла очень красивая, средних лет женщина.

— Что здесь за шум? — спросила она немного дрогнувшим голосом.

Лакеи стали объяснять, но Павлюк перебил и заявил, что ему необходимо видеть Евгению Ивановну Завейко. Услышав свою прежнюю фамилию, дама приказала впустить Павлюка и с любопытством ожидала, что нужно навязчивому посетителю. Она уже много лет жила с человеком и никто не произносил ее прежней фамилии, считая ее женой ее любовника.

— Я желаю видеть Евгению Ивановну Завейко, — повторил Павлюк.

— Это я...

Из груди Павлюка вырвался подавленный стон. Он несколько мгновений, молча, широко раскрытыми глазами смотрел на мать...

— Я Евгения Ивановна Завейко. Что вам угодно?

— Сейчас, сейчас... с мыслями соберусь, — отвечал Павлюк. — Вы Евгения Ивановна Завейко?

— Ну да — я уже сказала вам это. Прошу скорей объяснить цель вашего прихода. Мне надо идти к гостям.

Павлюк схватился за голову и крепко сжал ее, точно боялся, чтобы она не разлетелась на части.

— Я пришел... отыскал... Кровь затосковала... Взглянуть захотелось... Я Павел Завейко...

— Вы — такой?.. вы — мой сын? Не может быть!

Павлюк зарыдал, упал на колени, стал покрывать поцелуями руки матери.

Та стояла, ошеломленная...

— Мама! мама! Много поведал мне родимый, все знаю... всю жизнь твою знаю... А я... Кровь затосковала... Не видал, взглянуть захотелось.

Евгения Ивановна порывисто поцеловала Павлюка в голову и, боязливо оглядываясь, полупшепотом сказала:

— Уйдите, уйдите, могут войти, уйдите...

Медленно поднялся Павлюк и с невыразимым страданием и удивлением смотрел на мать.

— Войдет Коля... муж... Увидит. Сегодня и так он не в духе. Уйдите, дайте ваш адрес. Я пришлю денег, я все сделаю. Какой ужасный вид... Пахнет вином...

Павлюк провел рукой по глазам, как бы отгоняя докучливую мысль, и судорожно твердил:

— Что? Денег... Вот оно что... Гонишь, увидит... Срамно сынка-то в таком виде показать, эх, как срамно... Так... так... вот оно что? Чувства-то нету... Кровь не тоскует. Сын пришел взглянуть, руку поцеловать... Гнать... Знаешь ли ты, можешь ли ты представить умом своим, в каких трущобах сыну твоему жить пришлось... Я не знал, что такое — досыта поесть... Я не знал, что такое теплый, сухой угол... Жизнь моя — муки мои! Отдых — могила!

— Ради Бога, успокойтесь, — перебила Павлюка мать, — поймите — кругом гости, скандал... Коля... Я сейчас приду, я только посмотрю... Я принесу бумаги, карандаш, вы дадите адрес...

Она направилась в другую комнату. Павлюк сильно схватил ее за руку и крикнул:

— Стой! Куда?! Не хочешь добром, так я силой на тебя налюбуюсь...

Евгения Ивановна испугалась этого порыва и, стараясь вырваться, шептала:

— Это сумасшедший! Он пьян! Пустите!

— Не пущу... Насмотрюсь, — неистово отвечал Павлюк, — насмотрюсь, какова у меня мать, вдоволь нагляжусь, а там...

Рядом в комнате послышались чьи-то шаги и через мгновение вошел красивый мужчина, лет сорока пяти.

— Что здесь такое? Что за шум? — спросил он.

— Ничего... Я... — замялась Евгения Ивановна.

— Что вам надо? Как вы сюда попали? — обратился, по видимому, хозяин дома к Павлюку. — Оборванец какой-то! Вон! В полицию!

Евгения Ивановна умоляющими глазами смотрела на своего любовника. Павлюк вытянулся весь и как будто стал выше ростом. Он дрожащим от гнева голосом, подойдя к любовнику матери, отвечал на грубый прием:

— В полицию? Гм... не удивишь... А вы кто же будете?..

— Вон, негодяй!..

Евгения Ивановна бросилась между ними и умоляла прекратить эту сцену:

— Коля, дорогой, оставь это...

— Вот как? «Коля», «Коленька», — продолжал Павлюк, — ласкательное имя. Стало быть... ты причина горя-то моего... мук-то моих... А что, если я своими руками задушу тебя!

Он рванулся вперед, но его враг громко крикнул:

— Эй, люди!

В комнату вбежала прислуга и вошли гости, привлеченные шумом.

— Возьмите его, это полоумный... Гоните его...

— Ни с места! Голову размозжу! — останавливая наступавших слуг сильным голосом, которого нельзя было подозревать у Павлюка, приказал он. — Меня гнать, ее родного сына?!..

Гости заволновались и послышались возгласы возмущения. Все враждебно смотрели на Павлюка. Он видел, слышал, чувствовал, понимал эту толпу. Спазмы давили ему

горло, он сорвал галстук и, порывисто дыша, со свистом, вылетающим из надтреснутой груди, обратился ко всем:

— Все вы заодно! Смотрите же на меня, на эти отрепья, что прикрывают мое больное тело, на мое восковое лицо, слушайте стон моей больной груди и знайте — я порождение ваших пороков!! Мы несем на себе ответственность за вас! Мы отвечаем за то, что на свет появились! И если судьба столкнет вас с детищем вашим, вы его гнать вместо того, чтобы прижать бесталанную голову к груди да пролить теплые слезы...

Голос Павлюка пресекся и он зарыдал.

— Сходите за полицией, — сказал кто-то из гостей.

— Молчите! какая полиция! Не надо ее, сам уйду... а только на прощанье скажу: не дай Бог, чтобы вам день было сладко так, как мне всю жизнь!

Павлюк отер рукавом слезы и, грустно смотря на мать, произнес:

— Родная! Неужели ни одного слова, неужели...

Евгения Ивановна сделала порывистое движение, но сожитель властно остановил ее.

— Неужели ни одной слезинки не уронишь на мою иссохшую грудь?..

Мать молчала.

— Не стою, стало быть? и то... накричал, нагрубил... Простите меня, добрые люди! — Павлюк стал на колени. — Винов... горе заело... желчь подняло...

Шатаясь, он поднялся.

— Прощай, мама... спасибо... прости.

Павлюк выбежал из дома, куда он так стремился. Он бежал от него прочь, прочь, как от зачумленного бежал, словно тысяча смертей гнались за ним, и наконец, изнеможенный, опустился на скамейку у ворот какого-то здания... Мысли, проклятые мысли рвали его мозг. Призрак матери стоял в его глазах... Горе, горе и горе кругом, бездомное, суровое, неминуемое... О! за себя бы он простил, но за отца — никогда! Вся жизнь, как страшный сон, проходила перед ним... Изломать людей, счастье их! Пустить на ветер покой, нанести рану, из которой всю жизнь кровь по капле сочилась

и потом... оттолкнуть сына... этого нельзя простить, нельзя! Нельзя и пережить!

Начал накрапывать дождь, затем пошел сильнее и сильнее. Холодные капли освежали пылающую голову Павлюка и несколько успокоили нервы... Он продолжал сидеть. Его никуда не тянуло. Даже Уля, даже ее образ потускнел от охватившего горя. Долго сидел Павлюк; много передумал он за эти минуты. Сколько дорогих надежд, сколько упований кануло в пучину житейских волн безвозвратно... Прежде в мечтах образ матери вставал перед ним и он окружал его ореолами, а теперь ночь, ночь и ночь... прошлое ночь, настоящее ночь, будущее ночь. Павлюк поднялся и медленно пошел — не отдавая себе отчета — куда он идет, и совершенно не заметил, как перед его глазами возрос чудный Владимирский собор... Павлюк молился, долго молился, как никогда в жизни... Мало-помалу выражение лица стало меняться.

Кроткая улыбка озарила его лицо и он тихо сказал:

— Да, так... Надо простить... Мы не судьи своих отцов...

Павлюк перекрестился и пошел далее... Вот показались знакомые домики... вот его переулок... а вот хибарка... Он дома, он у себя, ему нужен был отдых, покой и он его нашел...

Павлюк не выдержал потрясения и снова захворал. На его красивом лице уже витала смерть, но Уля ухаживала за ним и хотела вырвать молодую жизнь из костлявых, леденящих объятий смерти.

Только ей он сказал о своем посещении матери.

Отец ничего не знал, но, огорченный болезнью сына, запил и запил опять всюю...

Глава XIV

В КОНУРЕ

В конуре, где жили Завейко, опять настала безотрадная жизнь. Только два женских существа несколько изменили



И он запил вовсю...

первоначальную картину.

Павлюк — больной — спал на кровати. Отца не было дома.

В углу на скамейке мыла посуду хозяйка хибарки. Ей было жаль Улю, истомившуюся от бессонных ночей и тяжелых дней ухаживаний за больным Павлюком. Она помогала ей и упрасивала ее прилечь отдохнуть, но Уля упрямо не соглашалась. Она спала мгновениями, закрывала отяжелевшие веки, мгновенный сон охватывал и она, вздохнув, сейчас же открывала глаза и испуганно бросалась к постели больного узнать, не долго ли спала она и не нужно ли ему чего-нибудь.

В данную минуту Уля делала морс для питья Павлюку. Ее слабые руки едва давили ягоду и каждую минуту могли бессильно повиснуть.

— Ляг, усни! Ляг, усни! — твердила хозяйка. — Ишь ведь, с норовом девка, нет чтоб послушать старую. Все наперекор! Сама сляжешь, что тогда будет? За твоим же сокровищем некому будет ухаживать. Ляг, ляг, ляг...

— Да право, не хочу, — отвечала по-прежнему Уля, — захочется спать, сейчас же лягу...

Митровна вымыла посуду, сложила все вместе и поставила на полки. Вымыв и вытерев руки, она подошла к Уле и хотела взять у нее мисочку с клюквой, чтобы доделать начатую Улей работу. Та не давала, желая сама кончить.

— А, мухи тебя облепи, — рассердилась хозяйка, вырвала из рук Ули посуду и затем чуть не силой посадила ее. — Не рассуждай! Сказала, сама, так и не перечь. И много же ты наделала?!

— Я только начала, — оправдывалась Уля.

— Ладно уж, ладно. Ты вот спать коли не хочешь, расскажи, с чего это с ним опять и куда сам пропал.

— Я боюсь, Павлюк услышит.

— А ты не дери глотку, тихонько...

— Если вы непременно хотите знать, — отвечала Уля, — извольте: как только он малость оправился, смог подняться с постели, так сейчас же, не сказав никому куда, ушел из дому. Возвратился сам не свой. Опять слег. Я расспрашивать,

что мол, случилось, молчит. Наконец не выдержал, разрыдался и все высказал.

— Да что такое?

— А то, что отыскал он мать свою. А та его сухо приняла, что ли... не знаю... не перенес он этого и...

— Вот те фунт! — вскрикнула удивленно хозяйка. — Какая мать, да разве жива?!

— Долго рассказывать, да и не смею я выдавать чужие тайны. И так сказала то, чего по-настоящему говорить не следовало.

— Ну ладно, молчи, — согласилась хозяйка, — нельзя, так и не надо. Я что ж? не надо... Только как же это? а? Виданное ли это дело? а? чтобы...

Уля остановила жестом начавшую волноваться хозяйку.

— Ну, ладно! припечатала уста... А сам-то чего вовсю пустил? Аль узнал?

— Да я ж сказала. От отца не смела скрыть.

— Так... так... ловко... Ах ты, грехи тяжкие...

— Опять вы громко...

— Да что же... я... того... молчу...

Хозяйка смолкла и усердно давила клюкву. Несколько секунд царило молчание. Только слышалось тяжелое дыхание Павлюка. Хозяйка все делала морс. Видимо, ей стоило больших усилий заставить себя молчать. Она тихо шевелила губами, что-то шепча про себя. Затем не выдержала и заговорила:

— Ох, ох, язык мой, враг мой. Не могу, моченьки нет. Так бы и отчитала, так бы и отлепортовала. Но сама доканчивай, слить только осталось. А я уйду, не могу... что не могу, не могу, чтоб не отчитать... Нет уж, благодарим покорно. Уйду лучше, да у себя отругаюсь... душу отведу, а то нет моей моченьки...

Хозяйка быстро направилась к двери и, уже почти дойдя до нее, вернулась и снова начала говорить:

— Я думала, только души моей погубитель один такой фиоп и народился... а тут на, поди — баба.

— О ком вы говорите? — полюбопытствовала Уля.

— О ком?! О злодее, который всю мою жизнь погубил. Федька, солдат... улестил... тоже вот так-то ушел от меня, ребеночка бросил... остались мы вдвоем, а там и Акулька померла. Одна я стала бобылем жить в своей хибарке. Тридцати годов прошло, а забыть не могу... Как вспомню, возьмет меня зло... уж я его...

Хозяйка не выдержала и очень громко заговорила, возмущенная давно прошлым, но не забытым. Уля опять ее остановила, боясь, что та разбудит больного.

— Молчу, молчу, — опять соглашалась хозяйка, и, махнув рукой, направилась к выходу ворча:

— Уйти от греха! ну вас в болото! Оно и время! А что правду не говорить не могу! Ну, у меня солдат?! А там мать родная! Уйду — сама с собой наругаюсь! Ну, народец!

Хозяйка вышла и несколько мгновений слышно было шуршание ее старческих ног...

Уля облегченно вздохнула. Она слила морс в бутылку и поставила ее на табуретку около кровати больного. Уля вытерла стол, прибрала и хотела уже сесть вздремнуть, но неожиданно проснулся Павлюк. Он испуганно оглядывался, не давая еще себе отчета, где находится.

— Где я? где? — спрашивал он сам себя.

Уля бросилась к Павлюку и старалась успокоить его:

— Это я, Уля... успокойся...

Услышав милый голос, Павлюк пришел в себя:

— Это ты... значит, сон, ужасный сон... Ох, как мне тяжело...

Павлюк закашлялся...

Улюша налила ему морса и предложила выпить.

— Да-да... я выпью, а то горит внутри...

Павлюк сделал несколько медленных глотков.

— Господь с тобой, успокойся...

Павлюк со стоном откинулся навзничь на постель и за метался:

— Тяжко, горько, — со стоном говорил он.

— Я сбегая за доктором, — предложила Уля и хотела уже одеваться, но Павлюк не пустил ее, говоря:

— Не надо, не надо... Не оставляй меня... мне страшно... сядь возле... дай руку...

Уля села и подала ему свою дрожащую бледную ручку.

— Какая у тебя горячая рука... дрожит... эх ты, глупая, испугалась. Полно, вот и отошло. Знаешь, сон приснился, да так ясно, да такой тяжелый... Ох, колет грудь... вздохнуть больно...

— Лежи спокойно, — упрасивала Уля. — Постарайся уснуть.

— Нет не хочу! Опять приснится... Сперва хорошо было, а потом...

— Голубчик, не думай о нем. Нехороший, неприятный сон, ну и Бог с ним, забудь его...

— Нет, ты выслушай, как ясно снилось-то мне...

Уля уговаривала больного молчать, но тот волновался, сердился и она должна была уступить...

— Слушай, слушай, — начал Павлюк, — виделось мне, будто я в лесу... лето... листья такие яркие, зеленые — точно изумрудные... — цветы... трава... птицы поют. Хорошо там было мне дышать, легко, без боли... не так вот, как теперь...

Павлюк закашлялся. Уля уговаривала его передохнуть, но тот не слушался и продолжал:

— Я прилег на траву. Как хорош мир Божий, думалось мне! Вдруг... чудо: плакучая береза, под которой я лежал, зашумела своими ветками и еще печальней, еще ниже наклонила их. Я стал вслушиваться... стал понимать тихий шелест. Листья шептали мне: «Смотри, любуйся этой дивной картиной, твой сон недолог. Он короток, как твоя жизнь. Скоро наступит зима... листья пожелтеют, осыпятся... холод окутает мир, как тебя могила...» Дай-ка, Уля, глоток... испить...

Уля дала...

— Смолкла береза. На меня напала страшная тоска. Я упивался окружающим меня. У моих ног я увидел одуванчик и сорвал. Капля крови выступила из него и росинкой задрожала на листке ландыша... Невыразимо жалко стало мне цветок. Я заплакал и прижал его к губам. Лепестки тот-

час же разлетелись и в руках моих остался только стебелек... Еще пить...

Уля опять исполнила просьбу.

— Слушай дальше... Постепенно наступал холод. Стужа становилась сильней, лист желтел и сыпался... я замер... Вдруг перед глазами моими потянулось шествие: десятки тысяч людей, оборванные, как я, бледные, худые, медленно двигались... я вгляделся и в каждом из них узнал себя... каждый был я... каждый укоризненно смотрел на меня, как я смотрел на них и...

Павлюк схватился за грудь и с усилием продолжал:

— И разом все мои призраки, мои тени, мое эхо, мои двойники остановились и из тысячи грудей вырвался стон упрека и десятки тысяч рук, костлявых, бескровных, протянулись к появившейся между ними женской фигуре... Она была одета в белую одежду, распущенные волосы темными волнами ниспадали на плечи и стан; она вся была усыпана драгоценными камнями, чело ее украшено розами и лилиями... о, это была чудная женщина...

Павлюк закашлялся и сделал рукою движение, дававшее понять, что ему тяжело и больно. Но затем, оправившись, он продолжал и речь его по-прежнему полилась вдохновенным потоком.

— Да, это была чудная женщина! Это был венец создания... Прекрасные черты лица... стройный стан... точеные руки... ноги... Но глаза светлые, цвета волны, и холодные, как лед... бессердечные, острые... На лице печать разврата, сластолюбия, хищничества и довольства. И чем больше я и все мы, тоже «я», стали вглядываться в нее — наше «я» унавало в ней ту, где я был... что прогнала меня... из-за любовника, меня, сына своего... И уж не чудная женщина, венец создания, не то, что должно нас согреть, давать жить, а ужасную гидру мы видели перед собой и... все исчезло...

Предо мной стояли лишь голые деревья... поднялась вьюга, пошел снег... Холод сковывал мои члены. Я чувствовал, что замерзаю. В ужасе хотел бежать и не мог. Спазмы схватили мое горло... дыхание прекратилось и я проснулся...

Павлюк схватил руки Ули и притянул их к себе. Он пла-

кал и сквозь слезы говорил:

— Уля, я чувствую, знаю, я умру! Уля — жить хочу... Уля, я хочу знания, света... Уля, я люблю тебя!..

Павлюк продолжал плакать, а затем плач перешел в нервное рыдание.

— Милый, дорогой, я бы жизнь отдала свою, чтобы вернуть тебе здоровье, чтобы сделать тебя счастливым, ненаглядный, успокойся, не надрывай ты мне сердца...

Павлюк сразу смолк от рыданий. Лицо стало вытягиваться, глаза расширились и он опять заметался на постели.

— Умираю, — прошептал он.

Уля накинула платок, сорвала что-то с шеи. Это был заветный медальончик и на нем было выгравировано: «Уле — мама». Она решила и его заложить, чтобы были деньги на лекарство и на другие надобности.

— Где батько?.. Отыщи... — протянул едва слышно Павлюк.

— Сейчас, родной, сейчас! Ты-то как один...

— Ничего... легче... ступай...

Уля быстро выбежала...

В комнате дарила тишина...

Павлюк приподнялся на локоть и тоскливо огляделся...

— Никого... пустота... Как хочется испить водицы... Душа горит... Ох!

Павлюк через силу спустился с постели, и, держась за стену, стал пробираться к кадке с водой, что стояла в противоположном конце, и вдруг взгляд его остановился на чем-то в углу, и он стал прислушиваться... Это пискнул мышонok... Павлюк увидал его мордочку... его черные, кругленькие глазки, ушки... Вот он скрылся... Опять никого. Приступ кашля снова разрывал легкие Павлюка. Он рванулся вперед и очутился почти у кадки. Потом вдруг остановился... и зашептал:

— Что же это... В глазах круги... Неужели это смерть?.. Ах, как жить хочется! — Павлюк провел руками по высохшей груди. — Тут горит... дышать нечем... Ноги, как лед... Нет, видно, пришло время...

Он опустился на колени перед кадкой, взял ковш, почерпнул воды и сделал несколько глотков.

— Господи, смилуйся! Дай пожить! — молил Павлюк...
— Пошли хотя бы год светлой, радостной жизни! Госп...

Голос его прервался. Страдалец хотел вздохнуть и не мог...

— Воздуху,— хрипел он, — никого нет... один.. Батько милый, где ты?! Хоть раз взглянуть... Батько!

Павлюк, точно мешок с костями, хрустнул на пол.

— Темно, — шептали его губы, — ишь, только свечка ярого воска горит... мигает... гаснуть хочет... Ох!

Павлюк вытянулся... Десница смерти коснулась его... Еще раз потрянула его кожу и кости и, испуганная сходством мертвеца с собой, скрылась из гнезда горя и печали...

Через час времени вернулась Уля с отцом. Увидев на полу Павлюка, они оба замерли... Первая пришла в себя Уля и бросилась к труп. Схватила за руку — она холодная, бессильно опустилась на пол... Посмотрела ему в глаза, они тускло, мертво смотрели в одну точку... На губах оказалась пена со струйкой крови...

— Умер, — глухо сказала Уля...

Старик затрясся... но не заплакал, не простонал, он разом почувствовал, что связь его с этим миром порвалась... Его пьяные старческие глаза тупо смотрели на дорогой прах, и в груди тихо-тихо переливалась не то водка, не то мокрота...

С трудом они подняли тело Павлюка и положили на кровать.

— Чем хоронить? — спросила Уля.

— Похоронят, — глухо отвечал старик.

— Сиротами остались, — сказала Уля и заплакала.

.

Старик не плакал и молчал. Он решил пить и знал, что более месяца не протянет...

.

Через две недели в хибарке уже были другие жильцы. С ними так же, как со старыми, ругалась хозяйка. Старик умер и по счастливой случайности был похоронен рядом с сыном...

Первый раз им повезло...

.....

А где же Уля? Уля!! Где ты, Уля?!!

Настала весна... Растаял снег... Потекли грязные ручьи... Пригрело солнышко... Заизумрудилась травка... Привольно разлился Днепр широкий... И...

.....

Глава XV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Мадам Завейко продолжала жить припеваючи. Невзрачный образ сына довольно скоро испарился из ее памяти. Добрые знакомые за спиной перешептывались, злословили, но в присутствии Евгении Ивановны молчали, как будто никогда не видали грустного, не сказать более, факта. В ее птичий мозг не проникала мысль, что сын умер на соломе, в убогой конуре, на руках пьяницы отца, тоже прикончившего свое существование. Веселые вечера, картежная игра, пикники по-прежнему туманили голову, а черствое глупое сердце не билось ни для чего, кроме любовника. Тщательно следилось за гигиеной лица, тела; брались благовонные ванны в бассейне, устроенном дома, и Евгения Ива-



И распускала по-русалочьи длинные, чудные косы...

новна любовалась сама собой в большое трюмо, и принимала соблазнительные позы, и распускала по-русалочьи длинные, чудные косы. Затем облакалась в тонкое белье, пропитанное запахом корня фиалки, надевались вычурные шелковые юбки, производившие приятный шелест; надевалось модное платье и жизнь текла полной чашей среди пустоты, тунеядства и пошлости.

В один прекрасный день, любовник посоветовал ей, во избежание повторения сцены с сыном, послать или даже отвезти ему двести, триста рублей с тем, чтобы он более не показывался к ним. Это предложение напомнило ей о случившемся и на несколько минут омрачило ее красивое лицо... Затем, по здравом размышлении, ехать сама не пожелала, а послала человека. Тот отправился в адресный стол, где уже было помечено о смерти отца и сына. Когда об этом узнала Евгения Ивановна, в первую минуту ее как бы ошеломило, но потом.... потом какая-то затаенная радость пробудилась в ней и настало удовлетворенное спокойствие. И потекли дни праздности еще и еще празднее, а затем все затянуло флером забвения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО

В средних числах июля месяца стояли жаркие, ясные дни. Думские часы показывали шесть часов утра.

Взошедшее солнышко еще не нагрело землю, не насытило полным теплом воздух, а только красиво позолотило и деревья, и дома и переливалось в гордо текущем Днепре... Весело щебетали пташки в довольно густой листве Цар—го сада. Особенно суетились и перекликались воробьи. Какой-то предмет занимал их.

Пернатые крикуны то подлетали к откосу, то вдруг кидались в листву и там еще озабоченней, еще тревожней чирикали, покачивая головками справа налево, и удивленно рассматривали красивыми черными глазками беспокоящий их предмет...

Легкий ветерок шевелил листья деревьев и они, трепеща, таинственно перешептывались.

Кроме голосов расшумевшихся птиц и шелеста листьев, кругом дарила тишина, изредка нарушаемая ранним свистком пароходов и шумом одиноких запоздалых дрожек. Кой-где на травке сверкала пузатенькая, красная с черными точками божья коровка, то зеленовато-черный жучок; а под корнями деревьев шмыгали ящерицы, тысячи мух и мошек беззвучно роились в воздухе; особенно много их было у откоса. Они то массами опускались к земле, то подымались, усиленно перетасовываясь в воздухе.

Сад еще не был убран и на аллеях валялись обрывки цветов, остатки конфетных коробочек, корки апельсинов, ленточки и разный сор.

После оживления, искусственной жизни, искусственного света настало спокойствие.

Воцарился свет утренний и прохлада ночи еще не успела унести в неведомые края...

За железной решеткой, которой обнесен Ц—ий сад, идет низенький откос, покрытый запыленной травой. За этим

откосом дорога, ведущая к «Шато», а дальше откос повыше, на котором растут деревья, затем третий откос, покрытый деревьями и свежей травой. От этого третьего откоса ведут дорожки к двум водокачкам и скамейке. На самом нижнем откосе выстроена будочка для продажи зельтерской воды. Вся трава на ближайших откосах в это утро было сильно потоптана. Недавно был пожар и публика с возвышенностей смотрела на грозную, но красивую стихию огня. Жаркие дни жгли траву и не давали возможности оправиться ей, а еще более лишали ее жизни. Мальчишки, да и взрослые для удобства влезали на деревья. Многие сучки были поломаны и на многих деревьях кора была попорчена.

Попадались сучки довольно большие, которые за несколько дней подсохи представляли из себя довольно увесистые дубинки, которые могли быть хорошим оружием для летних жильцов сада, жильцов, появляющихся после двенадцати часов ночи на ночлег, когда публика, собирающаяся в довольно большом количестве послушать оркестр «Шато», расходилась домой и ночные хозяева сада, ищущие уединения и безопасности от преследования полиции, располагались на травке под ветвями гостеприимных деревьев. Ужинали там, пили, вели беседы, ссорились, мирились и дрались. Тут же встречались любовники с любовницами. Любовники-сутенеры отбирали деньги у своих возлюбленных; шли пропивать их в другие места и возвращались снова в таинственную тьму и снова отбирали деньги — нажитые позорным образом. В редких случаях кутеж происходил сообща, а чаще с другими временными «предметами» сердца.

Отношения между подобными парочками самые своеобразные. Давая друг другу полную свободу в добывании денег каким бы то ни было путем, все они безгранично ревнивы, мстительны и требовательны друг к другу в «своем» кругу. Падшая женщина, дошедшая до крайней степени падения, не останавливающаяся ни перед каким гнусным, безнравственным подвигом, возмущается, если ее избранник внимателен и кокетлив с подобной ей. Две соперницы

или цепляются друг к другу в остатки волос и начинается драка, или оскорбленная начинает ругать и бить своего злодея, или обе соединяются и тогда горе субъекту, на которого обрушится гнев этих гурий. Мужчины — те еще более зверски расправляются за измену и часто его подруга, избитая, окровавленная, едва волоча ноги — скрывается несколько дней и ночей в самых темных уголках до того времени, когда возможно показаться на свет Божий. Почти все подобные ссоры — кончаются миром, выпивкой, закуской, а затем снова согласие до новой ссоры.

Случаи измены со стороны женщин, среди своих, очень редки. Изменяют только за что-нибудь; но это не считается за измену и кавалеры на это смотрят сквозь пальцы. Женщины же более строги и прощают только самые выгодные операции. Так позорно течет их жизнь изо дня в день, из ночи в ночь, пока еще влачится существование. Чем долготей, опытней в их кругу женщина или мужчина, чем больше они перенесли болезней и других треволений, тем более они уважаются своими и часто к ним идут за советом в том или другом случае, а при неудачах помогают водкой, закуской и даже деньгами. Свои экскурсии каждая имеет право производить в своем районе, по общему согласию. Большинство из них прекрасно знают друг друга, — если не лично, то по прозвищам, кличкам и именам.

.

На самом верхнем откосе лежал труп женщины. Положение тела было головой вниз, ногами, с согнутыми коленями, вверх... Одетая она была почти нищенски. Жалкое платье, прикрывавшее тело, было изорвано. Из-под него виднелась рубаха. Руки размашисто раскинулись по сторонам и судорожно скрючились. Ноги одеты были в грубые, простые чулки, но без сапог. Лицо было искажено и имело землистый цвет. Глаза открыто, точно с ужасом, смотрели на чистое голубое небо. Синие губы были искривлены и в

углах рта, как и в ноздрях, и в ушах — копошились мошки и мухи. Лицо, испитое, с печатью разврата, носило на себе следы былой красоты. Волосы, растрепанные космами, торчали из стороны в сторону и в них набилась и пыль, и остатки травы, и разный мусор. В груди зияла рана от удара ножом и такая же виднелась с правой стороны шеи. Масса крови пропитала и сорочку, и платье, и даже землю...

Вот этот-то новый предмет привлек внимание воробьев.

Пошумев, потолковав, — воробьи поприсмотрелись и постепенно, один за другим, скоком-боком, стали подлетать к трупу и глубокомысленно кричать: «Жив-жив! жив-жив!...» Но вот до их слуха долетело какое-то шуршание, и стая снова поднялась и разлетелась, но уже не на ближайшие деревья, а через сад, на улицу, и где-то скрылась. Это спугнул их сторож, убиравший сад. Он подмел аллеи и, собрав мусор, понес его в сторону...

Подойдя к откосу, сторож остановился и стал вглядываться в лежащую женщину. Он сначала думал, что перед ним пьяная баба, заночевавшая в саду, но, подойдя ближе, отшатнулся и побледнел, увидев кровь и раны. Он понял, что это убитая, и, сломя голову, бросив метлу, побежал в ближайший участок.

Там он поднял на ноги пристава. Пристав торопливо оделся и, взяв околоточного, двух городских, бегом направился к месту преступления. Осмотрев труп, он запретил до него касаться, чтобы не изменить его положение, и немедленно отправил к прокурору сообщить о происшедшем. Все это делалось быстро, толково.

— Кученко, — обратился он к околоточному лет тридцати пяти. — Вы бывали часто в обходах ночлежных домов и других притонов; не встречалась ли вам когда-нибудь эта женщина?

Околоточный нагнулся и внимательно всматривался в лицо покойницы.

— Никак нет, господин пристав, не помню. Может, и встречал, да не помню. Запомятовал, много их там, разве запомнишь.

— А вы? — обратился он к городовым.

Те поочередно стали нагибаться к трупу и боязливо смотреть его в лицо. Оба городских, после самого внимательного осмотра, отвечали то же что, и околоточный надзиратель. Много им приходилось видеть лиц — а только запамтовали. Все они как-то на одно лицо, да при обходе и не больно светло! Нешто разглядишь?..

Пристав нетерпеливо дожидался приезда властей, предварив окружающих, чтобы они не давали на себя садиться мухам, так как они, наевшись сукровицы, могут заразить их кровь, что уже было с одним из его знакомых при подобном же случае, и тот умер от заражения крови. У него вспухли все железки и их постепенно пришлось вылуццивать, но ничего не помогало. Бедняк скончался в страшных мучениях. И городские, и околоточный, и сам пристав, и с любопытством слушавший дворник внимательно следили за полетом мух и старательно отмахивались от их назойливого знакомства. Понемногу собирались любопытные.

Вот, наконец, послышался отдаленный треск дрожек; вот они остановились. Послышались голоса. Мелькнули зеленые околышки судебного ведомства. Прибывшие скорыми шагами направлялись к месту, где лежала убитая и где ожидал пристав с своими спутниками.

.

Только вышла опьяневшая женщина на дорогу к выходу, как с другой стороны показался мужчина. Он был прилично одет и в нем каждый посетитель сада мог бы узнать Федора Крупенко, снявшего в аренду ореховые деревья. Он видел две фигуры, сидящие на скамейке. Одна была женщина, другую он не мог за темнотой рассмотреть. Пройдя дальше и не будучи замечен, он прошел к другой аллее, где увидел мужскую компанию из трех мужчин. Не отдавая себе отчета, для чего, он начал следить за ними. Те увидели его, замолкли и пошли в другую сторону. Крупенко шмыгнул за дерево и, прячась то за одно, то за другое, нагнал компанию, которая приостановилась. Он напрягал слух, что-

бы услышать разговор, но напрасно. Трое мужчин говорили очень тихо и один из них несколько раз показал рукой по направлению к откосу, где нашли убитую. Компания продолжала тихо разговаривать. Крупенко терпеливо ждал и даже боялся пошевелиться. Чего доброго, пристукнут, ду-малось ему. Но таинственное трио мало-помалу увлеклось и стали доноситься отдельные фразы и слова... Безмолвный свидетель весь обратился в слух и ясно услышал, как самый высокий сказал:

— Вот что, ребята, надо пойти посмотреть, что с ней такое приключилось...

Средний махнул рукой и сердито возразил:

— Стоит тратить время! Пусть ее валяется!

Третий поддержал второго, но высокий настаивал и компания пошла к откосу. Крупенко не стал их преследовать, а направился домой, размышляя: «О ком это они говорили? на кого смотреть им надо было?» Но сон одолевал его и он бесповоротно решил идти домой спать... Это было часа в три ночи. Петух уж давно пропел свое кукареку, да не один раз, а несколько... Чувствовалось приближение рассвета, но тьма не рассеивалась и только на небе показались белесые клочки... Звездочки стали тускнеть и от травы пошел утренний пар-роса... В саду было тихо, только изредка трещали сучки под ногами трех таинственных незнакомцев, прокрадывающихся к откосу... Где-то прошуршало дерево — это или белка, или какая птица, испуганная чем-то, со сна метнулась, и опять тихо. Ветерок затих и июльская ночь, приняв в свои объятия все и вся, стала бледнеть перед приближающимся утром...

Глава II

ДВА ЧАСА НОЧИ!

Оркестр музыки отчаянно наигрывал какую-то модную шансонетку. По площадке «Шато» гуляла немногочислен-

ная публика. Было уже позднее время; приличный контингент посетителей ушел, и остались только мужчины и эти дамы... Эти чудные разрисованные создания, в шляпах вывертом, в платьях крикливых фасонов и одетые в заманчиво шуршащие шелковые юбки... Слышался смех, говор, взвизгивание, брань... Но вот музыка замолкла. Электрический свет погас, а вместе с ним улетели и бабочки... Сперва виднелись фигуры официантов, служащих, заканчивающих свое дело, а затем затихло все...

За деревянным забором в стороне откоса, среди деревьев мелькнула чья то тень, кто-то, пошатываясь, осторожно пробирался в ночной тьме... тень то спотыкалась, то оттаивалась, то быстро бежала.

Это была женщина, представляющая из себя тип, вечно встречающийся во всех ночлежных домах; она была бледна, дыхание ее порывисто. Она или бежала долго и скоро, или боролась с кем то... Косынка спустилась с головы. Губы что-то шептали и так скоро, нервно... Вот она споткнулась и грохнулась стремительно на землю. Несколько секунд упавшая лежала, не шевелясь... Затем приподнялась и села на траве... Глаза ее блуждали... Она, видимо, прислушивалась и наклонила голову в сторону откоса... Руки, опершись о землю, поддерживали туловище. Женщина с усилием оторвала правую руку от земли, которая точно магнит притянула ее, и провела ею по глазам, как бы отгоняя какую-то докучливую, неотвязчивую мысль... Затем села удобнее; дрожащими и от волнения, и от алкоголя руками она стала шарить в карманах юбки... Вынув коробку со спичками, она открыла ее, вынула спичку и чиркнула. Спичка сломалась. Женщина выругалась и вынула другую; та вспыхнула, но ветерок моментально погасил ее; наконец, одна из спичек загорелась и красноватым светом осветила лицо женщины. Оно было как-то перекошено злобой и судорогой. Прикрыв ладонью левой руки огонь, чтобы не погас, она нагнулась и стала осматривать свое платье. На нем ничего не было, кроме обыкновенной грязи, но на чулках виднелись пятна крови. Женщина что-то прошамкала пьяными губами и как-то улыбнулась без улыбки. Спичка погасла.

После некоторого бездействия женщина потянулась к чулку правой ноги и рукою ощупала под ним что-то твердое. Это был складной нож. Убедившись, что он на месте, она полезла в другой карман и вынула бутылку водки.

С жадностью, точно ее томила мучительная жажда, женщина большими глотками стала пить водку... Выпив разом треть бутылки, она передохнула и стала пить снова... Винные пары ударили в ее отравленные алкоголем мозги; тепло разливалось по жилам и наконец, выпив до капли, она швырнула бутылку; голова бессильно опустилась на грудь. С усилием, хватаясь за ствол ближайшего дерева, женщина встала на едва державшиеся ноги и поплелась к аллее, ведущей к выходу. Платье волочилось по земле, цепляясь за сухие прутья... Наконец она выбралась на дорогу и направилась к выходу...

.
.

Было два часа ночи...

Глава III

ДЕЛО ЗАПУТЫВАЕТСЯ

У входа в «Шато», около тротуара, стояли извозчики. Шел четвертый час ночи, и ваньки и лихачи ожидали пьяненьких седочков, закутившихся в «Шато» и возвращающихся с дамами. Все ожидания, видимо, ни к чему не приводили. Седоков не было, и им пришлось развлекать друг друга прибаутками, руганью и борьбой.

Совершенно неожиданно, точно появившаяся из-под земли, — перед ними предстала пьяная, оборванная женщина. Извозчики начали смеяться над нею, задирали, заигрывать, делать нескромные предложения, а женщина, в

свою очередь, отвечала руганью и отталкивалась от самых назойливых. Шум все усиливался. Среди смеха извозчиков и гула мужских голосов, голос оборванной дамы выделялся и обращал внимание своим пьяным визгливым тембром и отборной бранью. Через несколько времени к шумевшим подошел городской. Он пугнул извозчиков; те моментально разметались по козлам, но дама не унималась и свою брань перевела на блюстителя порядка:

— Не хочу молчать! Не боюсь! И взять ты меня не смеешь, хоть и городской! Ты жулик, а я буду кричать на всю улицу «караул» и «пожар»... Все знают Соболиху... она черта не побоится! Подойдите к ней, она уважит так, что долго будете помнить!

Она кричала, шатаясь. Волосы выбились из-под косынки, платье спустилось и волочилось по земле; лиф расстегнулся и виднелась грязная суровая рубаха. Городской сперва унимал ее, что называется, честью, но в конце концов, видя, что ничего не поделаешь, дал свисток и на его призыв появился другой городской. Вместе они едва справились с расходившейся бабой, посадили ее на парного извозчика и повезли в участок.

Соболиха была брюнетка. Испитое лицо носило следы красоты, и, пожалуй, интеллигентности. Ей было лет под сорок. Она отчаянно боролась с городскими, силясь вырваться, и те напрягали все усилия, стараясь не выпустить разбушевавшуюся.

— Пустите, черти! — вопила она. — Знаете ли, с кем вы дело имеете? Пустите! А-а-а! — редела, как зарезанная, Соболиха. — Да, я молода была, в шляпках ходила, на рысках ездила, содержанкой первый сорт была, с пылью, с грра-дом, а вы мразь! Генералы за мной бегали да ручки целовали, а вы, вы...

Как ни рвалась арестованная, но сильные руки городских держали крепко и усилия были тщетны...

Наконец, извозчик подвез к полиции. Когда Соболиху высадили, она стала делать отчаянные усилия... Ей не хотелось попасть в участок. Ее волоком втащили и посадили в камеру мертвецки пьяных для вытрезвления. Долго Собо-

лиха бушевала, наконец, смолкла. Она была страшна и отвратительна в этот миг. Страшная злоба пьяного человека бушевала в ней и она молча, скрежеща зубами, грозила кулаком на дверь...



Соболиха

Так она пробыла до 11 часов утра.

В это время к ней вошел городской и поставил посуду с водой для питья. Соболиха, увидев ненавистный ей вид мундира — снова начала отборнейшую ругань и вдруг мгновенно вытасила нож и ударила им в руку городского. Тот закричал и бросился вырывать оружие; на крик собралось несколько человек и Соболиху связали; но и связанная, она

все продолжала браниться. Ей сделали наружный осмотр. На ботинках и чулках следы крови. Рука на ладони была порезана. Одного ушка на ботинке не было. Соболиха стихла и видимо покорилась судьбе.

.
.

Весть об убийстве в Ц—ом саду облетела все участки. У осматривавших Соболиху мелькнуло подозрение, не она ли убила, и об этих соображениях немедленно дано было знать следователю... Немедленно на месте преступления был сделан тщательный осмотр и около убитой нашли оторванное ушко, безусловно подходившее к ушку ботинок Соболихи; приложили к оторванному месту и сомнений более не было, что это от ее ботинок. Отобранный нож, которым Соболиха ударила городского, примерили к ранам убитой и он совершенно подошел к ним. На основании этих улик она была арестована и посажена в тюрьму.

.

Убитую отправили в анатомический театр, где после вскрытия оказалось, что она умерла не от ран, а от потери крови. В ее желудке была масса алкоголя. С убитой были сняты фотографически карточки и разосланы по участкам для выяснение личности. После арестования Соболихи, следователь на свободе занялся изучением дела в деталях. Выяснилось, что убитая — Албеевская, одна из погибших женщин, ютящихся по самым страшным притонам.

Выяснилось это следующим образом. Некто Татьяна Гуленькая, увидав фотографический снимок, заявила, что знает убитую и немедленно была вызвана для показаний.

— Вот что, господин следователь, я всю правду вам покажу. Хотя я и погибшая, а правду скажу, — показывала Гуленькая. — Мы все дамы ночные, нашего сорту, недобро-

качественные — меж собой союз заключили, чтобы каждая по своему месту ходила, стало быть, район себе выбрала и там трудилась и уж ни-ни за границу переступить. Это подло... и мешать друг другу честные люди не должны. У нас тоже своя честь есть; воровская, подлая, а она все-таки честь есть. Какие ни на есть, а мы люди, не собаки, и очень даже на нас свысока смотреть нельзя. Мало ли что с кем бывает, ты прежде, чем нас замарьяжить грязью, ты порасспроси, в чем дело и как в жупело мы попали. Г. следовательно, я все покажу... желаешь знать в аккурате, кто я такая есть, была и буду...

Следователь заинтересовался и разрешил Гуленьковой рассказ.

— Маменька моя, царство ей небесное, со святыми упокой, на базаре гнилыми фруктами торговала, а то вареным картофелем. Сварит, в горшок положит, одеялом обернет, выйдет на рынок, сядет на горшок и сидит на нем, чтоб американский фрукт не стыл. Видите, какая я образованная, знаю, где что водится... Замуж она не шла, — не брали, а родилась я так, от дальнего знакомого маменьки... О том, как я малышом соску из черного хлеба сосала, не помню; нешто младенец может помнить, а слыхала. Сунет маман соску в рот и уйдет на заработки... Подросла я девчонка чахлая, а с плюй рыла смазливая, в благородном аппетите — не требуха разбухшая. Чево-чево видеть не довелось: и маменьку пьяную в синяках, и мужчин, все разных, да оборванных; вот как я перед вами рапорт даю; и все слова скверные говорили, да на меня показывали — «Вот фруктик подрастет, — говорили, — ты смотри, Крючка, так прозвище матери было, не продешеви». И маменька, царство ей небесное, отругивалась и словно неприятно ей было, что про дочь так языки чешут и слова непотребные говорят. А я, знай, расту; как стукнуло мне годков шесть, я милостыню пошла просить, маменька, царство ей небесное, приказала. Оденет она меня в платьишко драное ситцевое на голое тело, купцовейку наденет, на босые маленькие ноги со своих ног ботинки напялит, голову платочком — подбей ветром укутает, я и хожу клянчу, Христа-ради прошу. Прежде, бывало, маль-



Татьяна Гуленькова в детстве

чишки обижали, — возьмут, поганцы, да и отымут денежки; я реву, а они удирать. Мать дома таску; дальние знакомые, какие были — тоже лупку, ну ничего, обтерпелась. Бывало, лупят меня, а я ничего, хоть бы слово сказала али крикнула, словно убоище какое, — молчу. Только мальчишкам больше не поддавалась или драла от них, либо отбиваться... Одного чуть было не убила, под дыхало ногой угодила. Черт моченый, пусть не подхлюпывается... Вот, господин следователь, я и подросла — мне четырнадцать лет прикипело и стала я крепче, стоеросовой... Мужское племя на меня поглядывать стало... Вот как-то, лето тоже было, маменька пристарела, опилась, целый день, бывало, шатается гунявый знает где, а вечером либо в каком утвержденном приюте, либо в партикулярном ночуем и все вместе, и

господа кавалеры босые, и дамы в такой же обуви... Вот как один стал следить за мной, и гостинца дарить — то леденчиков даст, а то все больше водки рекомендовал отведать... Дура я была, как-то и хлебнула... горько... не по вкусу. Мой же кавалер — смеяться: «Да ты, — говорит, — во вкус не вошла», а уже я больше не хочу... «Ну ладно, не хочешь, пойдем со мной — апельсином угощу...» А для меня эта ягода, словно чудеса на яви, ни в жизнь не пробовала... Как-то только по голоду — я в яме помойной рылась — так надгнивший нашла и слопала... Как тут соблазну не поддаться — пошла. Ведет он меня, а я, дура, иду, чуть не бегу за ним и замечаю только, что кавалер-то мой, господин следователь, глазищами на меня как-то не то злобно, не то не по-человечьи смотрит. Ноздри дергает, губа трясется... Шли мы, шли — наконец, а на дворе уже темнеет, да в сад и пришли, где убита ныне Албеевская. И такой антихрист, надул, апельсина не дал. С тех пор опротивели мне апельсины. А я-то и не понимала, что со мной сотворили, так и пошла по босякам... Ну-ко, господин следователь, кто ж виновен, нешто я?..

И лакала же я потом — водку и сейчас лакаю, как воду... Вот бы поднесли...

А теперь — скажу про то, что знаю...

Часов в девять вечера на Владимирской горке встретила я кавалера, он познакомился со мной и стал угощать. Угощал хорошо, и водка была, и колбаса, и огурцы, и яйца вареные. Нализался сам до бесподобности и ушел. Я и выпила и закусила и так-то хорошо себя чувствовала. Нагуляюсь, думаю, всюю, в Цар—кий сад пойду. Ночь была, время часов одиннадцать, али около того. Вхожу и вижу Албеевскую в саду с Соболихой... чего-то говорят и так ничего себе... не очень ругались... При них же Танька Удовленкова, такая же, как и я, и почище меня Марина Рябкина, Коралтышев и друг сердца Соболихи. Оба крючника на Оболоне работают. Народ — у-ух. Ничего, и меня в гости пригласили. Выпили мы две бутылки. Это Танька Удовленкова угощала и Албеевская, кавалерам, значит, контрибуцию давали, а потом к Соболихе пристали, чтобы и она бутылку

проставила. Та пошла, купила. Выпили и закусили ситным с копченой колбасой. Булку и колбасу резала Соболиха...

— А ты видела нож, какой он из себя? — спросил следователь.

— Видела.

— Какой?

— Складной и кривой — словно садовый...

— Если покажу — признаешь?..

— Отчего нет...

Гуленькой показали нож. Она его признала.

— А кому он принадлежит?

— Да Соболихе, она тогда хвасталась ножом, а крючник подарить просил...

— Что дальше?

— Кавалеры были страсть пьяны. Особливо натранбабахался любовник Соболихи. Коченогий — мы его прозвали, кутяпый он был да гунявый... а нашей сестре нравился, большой фурор имел... Албеевская и давай с ним закручивать, да шутить, накаливать, значит, а Соболиха злится — страсть! Вот Албеевская и говорит Коченогому — покажи часы... тот показал. Я, говорит Албеевская, себе их на память спрячу — и взяла... Тот говорит: бери, мне Соболиха другие достанет; а Соболиха ругать их — как только возможно. Я, говорит, тебя как поросенка приколю! Зачем, пучеглазая, взяла часы? Отдай! Да так заревновала и такая страшная стала, что Албеевская часы-то скорей отдала — испугалась, слимонилась. Соболиха помалу утихла. Вся компания разошлась. Я тоже. Только это моталась я, моталась и чего-то меня к «Шате» потянуло; иду по другой стороне, уж поздно было, к утру дело шло, слышу — шум, ругня. Гляжу — Соболиха ругается. Я подошла ближе, гляжу, а она в крови запачкана и морда-то тоже припачкана. Ну, думаю, ловко избили и, чтобы самой не наздрючиться, ушла улицей на Печерск. Вот и все, господин следователь.

Гуленькая замолчала и ждала распоряжений. Следователь задавал ей еще массу вопросов, но ничего нового она не показала, и он прекратил допрос, отпустил Гуленькую и вызвал следующего свидетеля...

Глава IV

ТАИНСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Трое таинственных посетителей подвигались к водокачке и от нее они направились к скамье. Они шли уверенно, видимо, хорошо зная дорогу. Когда они стали приближаться к скамейке, шаги их замедлились и разговор стал стихать; двое остановились, а третий, осторожно ступая вперед, направился к намеченному месту. Подойдя как можно ближе, он нагнулся и ощупал скамью; руки его наткнулись на какой-то предмет, — это была женщина, она полулежала и от прикосновения сделала усилие приподняться, хрипло застонала и снова ткнулась в скамью.

— Жива, — прошептал третий и подозвал спутников. — Вы вот что, помогите мне ее оттащить отсюда. Сволокем ее к откосу, а то здесь разом заметят.

Те отказались, не желая пачкаться кровью, которая обильно текла из ран женщины.

— Ну, черт с вами, сам справлюсь.

Третий взял раненую, толкнул на землю, взял за ноги, как за оглобли, и потащил несчастную к откосу. Сперва она стонала, но потом смолкла. Голова колотилась о кочки, и сучья драли ее лицо. Наконец он дотащил ее, втащил, повернул головой вниз и бросил. С минуту он простоял за деревом, как будто ждал, что кто-нибудь выйдет посторонний и придется его прикончить. Затем торопливо направился к двум сотоварищам; там он вынул огарок свечи, зажег ее и стал осматривать скамью. По счастливой случайности ни одна капля крови не попала на нее, а вся она обильно смочила платье раненой. На песке также не было следов крови. Следов их ног не было заметно, они мешались с сотнями других. Увидав, что все обстоит благополучно, незнакомцы пошли к выходу, но вышли не из ворот, а махнули через ограду и скрылись по направлению к Подолу.

Раненая лежала неподвижно. Жизнь оставила ее, душа вылетела из брэнного тела.



И он спрятался за дерево...

Коченогий на другой день был сильно возбужден, он пьянствовал, угощал товарищей-босяков, что с ним случилось редко, то ругался беспричинно с ними, то вдруг смолкал, и на лице появлялась тень — не то беспокойства, не то грусти. Пьянство продолжалось весь день, и наконец он, нализавшись, мертвецки уснул, а его собутыльники разошлись по домам или, вернее сказать, по притонам...

.

Коченогий проснулся в одном из частных ночлежных домов. Он встал ранее всех. Все оборванное царство — еще спало мертвым сном. Он осмотрел себя и увидел на штанах три-четыре пятна крови. Первой мыслью было замывать их; но как это сделать, чтоб не бросилось в глаза?

Кто-нибудь из босой команды мог проснуться и все могло принять очень неприятный для Коченогого оборот. Медлить нельзя — надо было на что-нибудь решиться. Еще пять-шесть минут и все должно закопошиться. Коченогий соображал; хитрая улыбка появилась на его лице; затем он прилег и осторожно, чтобы нельзя было заметить, начал неистово тереть нос и ковырять в ноздрях. Кровь хлынула и закапала и на «спинжак», и на штаны.

В это время начали подыматься головы спящих, послышалось кряхтенье, зевота, вздохи, и вот темнота, грязь, разврат, воровство, убийство, несчастье, горе, все... зашевелилось, стали вставать и готовиться на дневное скитанье. Когда проснувшихся оказалось достаточное количество — Коченогий приподнялся и с притворным удивлением посмотрел на кровь; потом, как бы сообразив, в чем дело, — выругался и громко сказал: «Надо обмыться, а то, как есть, убивец...»

Держа под носом руку ковшиком, Коченогий направился на двор, — там он взял пригоршню воды и начал обмывать нос, руки, а затем, когда кровотечение остановилось, начал замывать пятна... Многие это видели и не придали особого значения. Но вот к Коченогому тихо подошел не

босьяк, а какой-то полуоборванец. Он остановился перед ним и тихо сказал:

— Что ты делаешь?

Коченогий вздрогнул, посмотрел на спрашивающего и не признал в нем никого из своих, здешних...

— Видишь, что делаю... да и какое тебе дело?

— Где был вчера ночью? Куда девали босьячку? Зачем тащили в откос?

Коченогий побледнел и невольно схватился за нож, спрятанный за пазухой...

— Кровь из носу? А вот эти пятна откуда, засохшие, что на штанах? Я все видел и знаю, как вы ее подкололи... Я говорю тебе, что я не здешний. Я приехал на гастроли и прятался в саду... Голоден и хочу пить... Угостишь меня?

Коченогий разом согласился и новые знакомые направились вместе...

Сумрачен был Коченогий.

Он был и голоден, и трезв, и зол...

Глава V

КАК УБИЛИ

Коченогий зашел и купил бутылку водки, фунт хлеба, полфунта колбасы и отправился с таинственным гастролером к берегу Днепра. Там они расположились, бульбулькнули поочередно из бутылки, закусили и несколько времени сидели молча. Ни тот, ни другой не хотели первым начинать неприятный разговор. Наконец, Коченогий начал:

— Ну, я тебя ублаготворил: лакай водки, сколько хочешь — только говори, что знаешь...

Гастролер двусмысленно улыбнулся и, подкрепив себя снова живительной влагой, начал рассказывать то, на что его натолкнула судьба:

— В ту самую ночку темную пробрался я в Ц—кий сад довольно раненько — еще никого не было из ваших, и го-

лодный развалился на траве и заснул; что у вас было раньше, не знаю, но проснулся я, когда услышал ссору около себя; вы чуть-чуть на меня не наступили. Я замер, думаю, еще обдерете последнюю одежонку, а то еще подколете, на счет моих кишечек пройдется. Вас было трое мужчин и две бабы... Мужчин двух я не разглядел, а тебя хорошо запомнил, когда ты закуривал сигарку... Бабы между собой спорили и одна ревновала тебя к другой, и та, которую ревновала, в сердцах выхватила нож и хотела ударить твою дохтаршу, ты выхватил нож — твоя захмелела и упала на землю, другая бросилась на нее и хотела подколоть, ты вырвал нож и всадил его в ту...

Во время рассказа Коченогий то бледнел, то краснел.

Гастролер продолжал:

— Дохтарша лежала, как мертвая, а подколотая упала на скамью и тихо стонала... Тогда вы посоветовались промеж собой, вы, мужчины... сняли с убитой сапоги и надели их на пьяную, которая была в одних чулках, и нож спрятали ей за чулок... Оторвали ушко и бросили... и ушли... Я затих... Потому знаю, как бы со мной поступили... Долго лежал я... Наконец слышу, пьяная встает, копошится... Я подполз ближе и вижу, она глядит на ноги и ухмыляется — не поймет, откуда у ней сапоги... Хватъ за чулок, а там что-то твердое... Она пощупала и ничего, только пожала плечами... Вдруг она услышала стон и, не понимая, в чем дело, но по видимости испугавшись — кинулась в другую сторону... Остался я один... Ну, думаю, скверно, коли меня поймают тут в саду... Еще на меня взвалят. Я дралка, да через забор... а как убежал, нагнал пьяную... она водку пила, да все грозила в сторону, все не могла успокоиться в ревности...

А потом нас с тобой свело в ночевке... Я теперь твою тайну знаю и хочу, чтобы ты откупился...

Коченогий угрюмо молчал.

— Кто это — приколотая-то? Из основных?

— Нет, — отвечал Коченогий, — она появилась недавно, лет пять. Красивая была, молодая; да в пять лет состарилась, поседела, в старуху обратилась...



*Коченогий начал хохотать. Схватился за живот.
Спазмы охватывали его....*

— Кто же она такая?

— А не знаем; как показалась посередь нас, так словно образованная и непорченная... и все водку пила, заливала — страсть! Бывало, стаканчик выпьет и пьяна... а там все больше и больше, а потом лушила, как воду... Гуляющая была, как никто...

Коченогий говорил, а сам незаметно ближе подвигался к гастролеру.

Тот, ничего не предвидя, сидел спокойно. Вдруг Коченогий накинулся на него, схватил за горло и начал душиТЬ. Гастролер разом обессилел и начал хрипеть... Коченогий все крепче и крепче давил его и наконец увидел, что тот мертв. Коченогий огляделся кругом — было пусто... Он схватил за ноги удушенного, как хватал убитую им женщину, и поволок к воде... Ошарив предварительно карманы жертвы и не найдя в них ничего, кроме пуговицы, он толкнул его в воду, а сам быстро стал удаляться от места преступления. Он себя чувствовал легко, он избавился от свидетеля, а те — свои, те не скажут, те знают, что я, чуть что, и их припутаю. Коченогий начал хохотать. Он схватился за живот, спазмы схватывали его. Да, ему было весело. Он шел и ему вдруг непреодолимо захотелось узнать, что стало с удушенным. Он шел по берегу, а затем повернул на мост, подошел к перилам и стал вглядываться... Ему казалось, что у того места, где он столкнул убитого, только немного дальше, что-то чернелось в воде — точно голова человека...

Не успел Коченогий хорошенько вглядеться, как его окрикнул мостовой сторож:

— Чего стоишь?! Отойди от перил!

Коченогий вздрогнул и быстро пошел к берегу. Затем вошел в Ц—кий сад и уселся на скамейку. Он был сыт, пьян и нос в табаке и не было его... таинственного свидетеля.

Затем он встал и пошел. Он все ускорял и ускорял шаги. Наконец побежал быстрее и быстрее и бежал, пока хватило духу, а там остановился, бросился на землю и заснул, как мертвый...



Сът, пѣян и нос в табаке....

Глава VI

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ

Следующим свидетелем был вызван Коченогий.

Он держал себя развязно, смотрел наивными глазами и представлялся глубоко оскорбленным, когда ему казалось, что следователь ловил его и подозревал в совершении убийства. По виду, более невинного, более непричастного к делу человека трудно было найти. Он отрицал все и даже вообще свое присутствие в г. Киеве. Он, как опытный босяк, запутывал, заметал след. Указывал, что он не прописан в г. Киеве, а что в то время жил в «Одессте», что могут навести справки; справки навели и оказалось, что действительно Коченогий был прописан там.

Следователь порылся в бумагах и спросил Коченогого:

— Кто был ваш отец?

Коченогий замялся. Он не ожидал этого вопроса и только после некоторой паузы отвечал:

— Хорошо не помню. Говорят, — купец. Говаривали мне.

— Вы грамотный?

— Грамотный.

— Напишите что-нибудь, — предложил следователь.

Коченогий исполнил. Он писал быстро, грамотно, толково. Следователь посмотрел и спросил:

— Где вы учились?

— В Одессте, — отвечал Коченогий.

— Кто давал вам средства учиться?

— Родитель, — брякнул Коченогий.

— Как же вы говорите, что не помните вашего отца, а помните, что он вас образовывал?

Коченогий молчал.

— Я вам напомню, кто был, по собранным сведениям, ваш отец...

Коченогий навострил уши. Ему, видимо, было очень интересно, что скажут по этому поводу...

— Ваш отец, — продолжал следователь, — был по прозвищу Чумаков, известный разбойник. Он был три раза сослан в Сибирь, три раза бежал и в третий раз от старости и усталости замерз, был найден и признан.

— Царство ему небесное, — набожно крестясь, произнес Коченогий. — Ну что ж, если вам известно, кто был мой родитель, отрицать не стану. Только до меня это вовсе касаться не может. Родитель мой был душ погубитель, это верно, а я человек скромный, судьбою забитый — канареек развожу и петъ их обучаю. У родителя моего душа, может быть, жестокая, а у меня тихая, ровная, Божье созданье любящая. Мало ли, вон мой родитель, это верно, бывало, целый обоз чумаков передушит, силища была страшенная, да сам впереди обоза пойдет, да и приговаривает: «Цоб-цобе». Пригонит волов с хлебом или с чем другим в город, запродает и запьет; нам с маменькой денег пришлет на прожитие, на мою науку. Маменька у меня была дама благородная, только раз один барыню помогала схоронить, как ее придавил родитель, а то, ни Боже мой, все благородными делами занималась: красивых девушек содержала, а теперь померла. Я, господин следователь, прежде ходил как барин, как родитель да маменька мне помогали, а как скаюкнули — тут мне и капут пришел... Душа у меня мягкая; их делами я заниматься не могу, и пострадал за доброту. Нешто канарейками прокормишься?! Вот и теперь за их грехи меня тягают. Мол, родители таковы и сын не лучше, а это оскорбительно. Бос я, гол, на теле отрешье, да душа у меня христианская. Беден я, и заступиться нет кому, вот и тягают...

— А где вы жили три года назад?

Коченогий опять наострил уши...

— Что же вы молчите?

Коченогий кашлянул и опять после паузы начал:

— Жил я в Одессе...

— Где ваша была квартира?

— Квартира? — переспросил Коченогий...

— Да.

— Н-да, собственно, в тюрьме... Тоже невинно заподозрен в посягательстве на невинность, да выпущен за неиме-



Зол и голоден...

нием улик. Видите, г. следователь, сколько нашему брату, бедняку, терпеть напраслины приходится. Я канареечник и вдруг такой грех; нешто возможно?! Все напраслина, подвох, зависть...

— В чем же вам могут завидовать? — не вытерпев наглости, спросил следователь.

— В чистоте душевной, — не моргнув глазом, отвечал Коченогий...

— Ну хорошо, — невольно улыбаясь, якобы согласился следователь. — А где вы жили пять лет назад?

— Это к делу не относится, — довольно грубо оборвал Коченогий. Мало ли что?! Голодный был, украл и попался. Отсидел. Мало ли от нужды что натворить можно. Все же я не убийца, рук своих кровью не пятнал, заповедь «Не убий» помню и делу этому, — сторонний человек. Как прежде, так и теперь скажу: убитую встречал частенько, лет пять-шесть сподряд. Прежде она больно красива была и даже вообразить невозможно, что из такой красавицы — такие ошметки стали, а с ей я в связи не был и убивать мне ее ни к чему... Сами порассудите, для чего мне ее подкалывать? Грабить, что ли? Али ревность? Г. следователь, да этакую нешто можно ревновать? И за кого же вы меня считаете! Главное — не был я в Киеве, а был в Одессе. Кули таскал с углем на пароходы. Изволили наводить справки, так и было. Больше что же я могу сказать? Мое дело чистое, человек я честный; а за правду во всякое время пострадать можно.

А что вы подружку убитой в тюрьму заточили, так это напрасно. Они друг дружку любили. Подружка прежде в красотках жила, Стаськой-головорезом ее звали и тоже за эти года она попаршивела, а тоже мамзель была преизрядная. Она, господин следователь, чем-то свою хозяйку и хозяина обидела, те тайный притон содержали; полиции, что ль, донесла, другие такие же про это узнали и к себе брать не стали, сговорились. И вот она из хорошей жизни в босячихи...

— Почему же она не хотела говорить, что знакома с убитой? — спросил следователь.

— И не скажет, хоть режьте ее, не скажет; и я спрашивал, любопытство брало, даже раз чуть не прибил, молчит и только. «Кто, — говорит, — она, только Бог, я, да сама она знает...» Отпустите, меня, бедного человека, г. следователь! Сами видите, какая моя душа и что я канарейками занимаюсь... Не дайте пострадать невинному...

Много других прямых вопросов, относящихся к делу, задал следователь, но все было напрасно. Коченогий стоял на своем и упирал на свое пребывание в Одессе. За неимением улик его выпустили на свободу.

Следующие свидетели тоже не показали ничего существенного и следователь видел, что дело должно идти к прекращению. Арендатор ореховых деревьев показал, что он знал, но лиц не видел, не запомнил, было темно и его показания сошли на нет... Хозяйка убитой показала, что ботинки не принадлежали ее бывшей квартирантке, что на ней были простой работы, а это ботиночной... что она хорошо это знает, так как убитая часто чистила свои и она хорошо их помнит.

Также помнит, что в эту ночь, в час убийства к убитой приходила подружка, и спрашивала — дома ли жилища. Так заканчивалось следствие. Только в один из допросов, когда показывали платье убитой, городской заметил, что лиф, когда он его клал на стол, как-то стукнул. Пуговиц не было и этот стук заинтересовал следователя. Он начал внимательно осматривать и ощупывать лиф. Долго ничего не попадалось под руку, наконец он ощупал под подкладкой что-то твердое. Он отпорол подкладку и увидал, что между коленкором и ситцем было что-то тщательно зашитое. Подпорол кусочек полотна и оттуда вывалился небольшой золотой медальон. Следователь ухватился за него, стал рассматривать и прочел мелко вырезанную подпись: «Уле — мама». Открыли медальон: направо была вставлена картинка женщины лет тридцати, а налево — мужчины лет сорока пяти. Вынули карточки, посмотрели с оборотной стороны и прочли: папа и мама. Под одной была спрятана прядь светлых волос. Снова вызовы свидетелей, снова предъявление вещей, но все напрасно...

Так дело кануло в вечность...
Шел 1899 год.

Глава VII

НА КЛАДБИЩЕ

Прошел год. Настала зима 1900 г. Подозреваемую в убийстве давно выпустили. Убитую схоронили; кладбище приняло унылый вид. Все могилки были занесены снегом. Кресты, точно привидения, торчали из-под сугробов. Деревья покрылись инеем и пушистым снегом. Все было убрано белой пеленой. Тишина царила полная: в мертвом царстве царило мертвое царство...

Изредка каркнет ворона и черным зигзагом метнется в воздухе, подымет снежную пыль и скроется... Тихо... Мирно... Спокойно...

Вот с противоположной стороны послышались стуки заступа и лопаты о мерзлую землю. Это кому-то готовили вечный приют...

А вот в другой стороне послышалось: «Со святыми упокой...», чьи-то рыдания, стоны...

Прошло час времени и снова все стихло.

.

На окраине кладбища находилась могилка, над ней стоял простой деревянный крест. Ее почти не стало видно. Надписи не было никакой и только чья-то неизвестная рука выцарапала: «Уля, убита 18*** года».

По направлению к могилке послышались приближающиеся шаги. Снег довольно громко хрустел под ногами.

Показалась темная фигура женщины. Вид ее был непригляден. Это была типичная представительница босяков. Она подошла к могилке, долго молча стояла, затем упала

на колени и молилась, слезы текли по испитому, изможденному лицу; истинное, тяжелое горе выразалось в глазах. Затем она встала и губы ее тихо шептали:

— Спи, Уля, спи, невинная душка... ты уже на том свете, а бездомная Стаська живет... Тебя не спасла и себя погубила... Спи, барышня... спи, милая...

Босячка вынула бутылку с водкой и стал пить из горлышка. Затем села на бугорок могилки и стала причитать:

— Поставила-таки тебе крестик, на свои грешные деньги, а поставила... Милая, голубушка, барышня...

Босячиха опять прильнула к горлышку и, не закусывая, пила водку, как воду...

Глаза мало-помалу мутились и мысли путались...

Босячиха уже шептала слова, смысл которых нельзя было разобрать, но изредка она не переставала твердить:

— Уля... барышня...

Затем, свернувшись калачиком, пьяная женщина заснула на могилке, держа в руках пустую бутылку... Слышалось тяжелое неровное дыхание...

Мороз крепчал и охватывал ледяным дыханием всю природу. Вот его могучий вздох коснулся уснувшей... Колочий холод поцеловал изношенное, дряхлое тело, еще, еще... с каждым поцелуем дыханье спящей становилось тише, а там окончательно затихло. Члены все твердели, каменели... и грешная, а быть может, и чистая душа улетела туда, где нет ни слез, ни воздыханий.

.

Пошел снег, шел долго и покрыл и кресты, и могилки, и пьяную босячиху...

Все было бело, ровно — на занесенном кладбище...

Утром, разметая дорожки, сторож натолкнулся на оледенелый труп.

— Ишь, нализалась, места лучше не нашла, — выругался он и пошел дать знать в участок...

Если убитая была наша Уля, а замерзшая наша Стася,
то можно одно сказать:

Как мало прожито,
Как много пережито...

Спите мирно вечным сном, и не давит ваш бедный прах
мать сырая земля...

* * *

Не бросай, толпа, осуждение женщинам, и в самой пад-
шей можно найти много прекрасного...

ОБ АВТОРЕ

Павел Леонидович Скуратов (1861 — после 1926) — актер, антрепренер, писатель, драматург.

Настоящая фамилия — Новиков; по некоторым сведениям, его матерью была актриса М. Глебова (1840-1919).

Учился в Петербургской консерватории (класс скрипки и композиции); здесь же прослушал курс драматического искусства у Н. Ф. Сазонова и Д. Д. Коровякова. На сцене дебютировал в 1881 году; в 1882-84 гг. работал в Малом театре, затем играл в провинции. Выступал в ролях Гамлета, Отелло, Фердинанда, Уриэля Акости, Чацкого, Незнамова и др.

С 1900-х по 1926 г. жил в Киеве; в 1907 году построил здесь театр и открыл драматические курсы. Выступал с гастролями в Петербурге и Москве. Был антрепренером опереточно-драматической труппы.

С 1880-х гг. выступал в печати как прозаик и драматург; его основные прозаические произведения — уголовные романы и очерки «трущобной» жизни: «Среди падших...: (Из киевских трущоб)» (К., 1901), «Жизнь ночью: Очерки из жизни искалеченных» (К., 1902), «Таинственные убийства: Уголовный роман из жизни окраин и трущоб» (К., 1903). Также написал кн. «Театральная правда: Очерки и фантазии» (Одесса, 1901), «Сказки, былины, легенды» (К., 1903), историческую повесть «Минувшее» (М., 1884), сочинил ряд комедий, писал статьи и очерки на театральные темы и т. д.

Роман «Среди падших...» публикуется по первоизданию (К., 1901), откуда взяты и иллюстрации. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Исправлены наиболее очевидные опечатки.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.